

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://seminvitaly.ru/> приятного чтения!

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин

Глава первая

1

В августе пятьдесят пятого года я наконец получил направление в сельскую школу. Института я не закончил, меня оттуда выгнали зимой пятьдесят третьего. С последнего курса. «За моральное разложение». Месяцем раньше мне предложили аспирантуру.

– Мы тут подумали, кому, – сказал мне перед зимней сессией декан, – и решили: тебе. Хотя ты и был не очень дисциплинированным и лекции пропускал. Но если подумать, так только тебе.

– Григорий Никитич, – сказал я, горько радуясь (поди ж ты, бывает такое!), – мне в аспирантуру нельзя. Я был в Германии.

– Как в Германии? – побледнел декан. – Ты же в то время был мальчишкой!

– Вот мальчишкой и угнали.

– Но в документах у тебя ничего этого нет!

– Не написал, боялся, в институт не примут.

– И долго ты там пробыл?

– Три года.

– Три года?! – растерянно развел руками Григорий Никитич, как будто бы «три года» все и решали. Он никак не мог сдвинуться с места.

– Вы уж извините, – сказал я. (Когда-то Никитич говорил обо мне: «Мы будем бороться с этим ложным академизмом», – я пропускал лекции, целые дни просиживал в библиотеке, но теперь мне даже жалко его стало.)

– Да-да...

А потом заварилась каша. Не то чтобы Никитич пошел к кому-то (к кому надо) и что-то ему сказал. Просто он не мог не сказать, когда надо было объяснить, почему Андрея Горбатых, то есть меня, нельзя рекомендовать в аспирантуру. Да и не во мне одном было дело. Тогда, в январе пятьдесят третьего года, на нашем курсе была разоблачена организация, которая называлась «Академия париков». Мы сами ее создали на скучных лекциях и время от времени поддерживали разными стишками и карикатурами. Но мы не знали, что наша «Академия» – организация. Мы не придавали ей значения. Мы – Валька Максимов, Гера Иванов, Владька Каган, Ленька Солдатов и я – просто шутили. И не надо было нас разоблачать – мы ни от кого не прятались. Но там, «где надо», нашей «Академии» придали значение, и она сразу стала организацией, а мы – ее членами. Дальше уже все складывалось само собой. У каждой организации должен быть свой руководитель, прямой или косвенный. Тайным вдохновителем «Академии» сделали меня (был в Германии, поступая в институт, не написал в анкете, что был в Германии. У ребят потом спрашивали: «Теперь вам ясна роль Горбатых в организации «Академии париков»?). Приказ о моем исключении начинался фамилиями двух преподавателей, которые на каких-то курсах каким-то студентам – я плохо знал этих преподавателей – читали лекции на недостаточно высоком идейном уровне. Тогда в газетных статьях, громивших «врачей-вредителей», появилось выражение «морально разложившиеся люди». В институтском приказе все мы именовались «морально разложившимися людьми».

Приказ об «Академии» был зачитан во всех вузах города, и ко мне от разных полузнакомых и совсем незнакомых людей стали доходить жуткие, фантастические слухи. «Слышал, – спрашивал меня какой-нибудь полуприятель из строительного, – у вас-то в пединституте раскрыта подпольная организация! Журнал свой выпускали, листовки. Говорят, связаны с подрывным фондом...» Мои знакомые, которым я уже

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru однажды, смеясь, рассказывал об «Академии», начинали меня спрашивать по второму разу: «А все-таки, что у вас было на самом деле?» И я уже не мог сказать, как в первый раз, что на самом деле были автошаржи, карикатуры на Леньку Солдатова, стихи о Теркиных усах. Какие уж тут усы! Ведь, и правда, не может же быть, чтобы весь город шумел, а на самом деле были бы только стихи о Теркиных усах! Даже дома, где дольше всего верили мне, стали, происходить тяжелые сцены. «Допустим, – кричал на меня отец, – что все ваши стишки и карикатуры безобидны! Повторяю, допустим. Допустим, что все это чепуха, как ты говоришь. Но можно же было все это не писать? Не говорить? Просто не писать и не говорить?» Это было самым страшным, что я тогда слышал...

Что было потом? Я уехал на стройку. На строительство Куйбышевской ГЭС. На стройке я начал такелажником, разнорабочим, но очень скоро стал бригадиром, а потом и техником – нужны были грамотные люди, а я умел читать чертежи. Но какой из меня техник! Я работал не хуже других, но техником все-таки не стал. Меня переполняли три с половиной года фанатичных занятий в пединституте. Недаром сам Григорий Никитич собирался бороться с моим «ложным академизмом». Только никогда я не мог понять, почему академизм ложный. Правда, я часто пропускал лекции, но у меня просто времени не хватало – слишком много я должен был узнать, слишком много времени потерял в Германии. И потом у меня были десятки вопросов, на которые я должен был получить ответы сам. Я не мог это передоверить кому-нибудь. Я сам читал Маркса и Энгельса, зачитывался Гельвецием и Дидро (художественную литературу я вначале читал мало, писатели казались мне расточительными – толстенный том для того, чтобы доказать одну простую мысль!).

Я и уходил со стройки, потому что меня тянуло поближе к гуманитарным наукам.

Было тут, правда, и еще одно обстоятельство, которое я не каждому смог бы объяснить. В Германии я работал в литейном цехе, и каторга для меня на всю жизнь связалась со сладковатым запахом формовочной земли, пропаренной расплавленным металлом. Меня тошнило от этого запаха. Я находил его там, где его даже не могло быть. Литейкой для меня пахли электроды, которыми работали электросварщики. И вообще вся техника пахла для меня литейкой, и я с этим ничего не мог поделать.

Куйбышевская ГЭС наконец-то, через девять лет после войны, отбила мне этот запах, но техником я все-таки не стал.

2

На станцию Зимино поезд привез меня ночью. То есть не так уж и ночью – в половине одиннадцатого. Но на станции и в станционном поселке была уже глубокая ночь. Осматриваясь, я медленно шел вдоль поезда к станционному зданию. Куда-то торопясь, меня обгоняли люди, пахнувшие мешками и дегтем, торопилась женщина с двумя детьми. Поезд ушел, я постоял на перроне и направился к вокзальчику отыскивать комнату отдыха. Тут-то я и понял, куда спешили люди, обгонявшие меня. Они торопились занять места в маленькой комнате отдыха. Те, кто не успел занять койки в комнате отдыха, примащивались на деревянных диванах в зале ожидания. Примостился на свободном месте и я. Завтра мне предстояло проехать в глубь степи километров сто двадцать. Несколько дней назад завкадрами облоно, выяснявший перед тем в высоких инстанциях, можно ли мне доверить преподавательскую работу, сказал: «Мы можем направить вас в глубинку. Только очень дальний район. Классы – пятые-седьмые. Семилетка. Преподаватели там долго не задерживаются, а вы оправдайте доверие». – «Уж если ехать далеко, то пусть это будет подальше», – бодро ответил я.

И вот я на станции Зимино.

...Прямо в голову – я бы сказал, в нос – мне упираются чьи-то много ходившие, много потевшие ноги в парусиновых туфлях. В конце концов я все же заснул, но спать мне не дали. Меня разбудил милиционер.

– Гражданин, – он тронул меня за плечо, – спать в зале ожидания не разрешается.

– А что же разрешается?

– Сидеть.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru – всю ночь?

– Я говорю – не положено! – И он взялся за парусиновые туфли: – Гражданин, проснись! – Не размыкая глаз, человек послушно спустил ноги с дивана, и милиционер пошел дальше. – Проснитесь! – тербил он кого-то следующего.

Каждого очередного милиционер будил так, будто оберегал сон еще спящих – двигался осторожно, говорил вполголоса. Люди послушно поднимались, но едва милиционер поворачивался к ним спиной, ложились на свои диваны опять. Лег и я...

3

Утром на дороге меня подобрал грузовик.

Один раз в жизни, до войны еще, я летал с родителями на самолете; на легковых автомобилях ездил раз десять – ну, может, двадцать; а вот на грузовиках я уже намотал тысячи километров. И в Германии, и дома... После войны я работал грузчиком и каждый день по десять раз тряса в кузовах полуторок и четырехтонок со двора калориферного завода на станцию или в порт. В гололедку мне случилось идти с лопатой за медленно движущимся грузовиком, выгребать на ходу из распахнутого кузова жужелицу и рассыпать ее по дороге... И все-таки грузовики мне не опротивели. Я к ним испытываю даже что-то вроде симпатии.

Машина, на которой я еду сейчас, – новенькая четырехтонка. А шофер грузовика – не «новенький». Дядьке уже далеко за сорок. Вон даже простуды боится. В степи жара, а он в плотно застегнутом пиджаке. Пиджак этот ширпотребовский – узкий в плечах, широкий на животе. Такие пиджаки шьют в городе, но покупают только в деревне. Я не пижон, не модник, но я спортсмен и не люблю, когда одежда уродует тело. У дядьки жилистые, крепкие руки, а кажется, что они приделаны где-то очень близко к шее.

– Хорошая машина? – спрашиваю я. – Лучше «студебеккера»?

– Пovýносливей. «Студебеккеру» дороги нужны. А это самая по нашим дорогам машина.

– А на МАЗе вам не приходилось работать?

– На МАЗе? МАЗов у нас на весь район штук пять. Зачем здесь МАЗы?

– А у нас, на стройке, – с еще не совсем понятным самому себе чувством говорю я, – только МАЗы. Полуторок и четырехтонок почти нет. Мелочь. Им там делать нечего.

– На какой стройке?

– На Куйбышевской ГЭС. Вот бы вам туда! Там шоферы знаете как зарабатывают! По три тысячи и больше. И почет. Во всех столовых объявления: «Бетоновозы обслуживаются вне очереди». И столики – «только для бетоновозов».

И я со страстью рассказываю о стройке, о ее бетонных дорогах, о реве машин, который днем и ночью сотрясает воздух на десятки километров под жигулями.

– В Большое Ровное к родственникам? – спрашивает шофер. – В отпуск?

– Нет, – говорю я. – На работу, учителем.

Едем мы уже часа два. Солнце успело подняться высоко, светит прямо в железный лоб нашей кабины. Стоит шоферу тормознуть на спуске, как нас догоняет удушливое облако пыли. В такие минуты не только я сам потею – потеют суконный потолок кабины и дерматиновая спинка сиденья. А шофер даже не расстегивает свой толстый черный пиджак – крутит себе баранку да курит папиросы. Похоже, жара на него совсем не действует. Я с уважением присматриваюсь к его жилистым рукам, к сухой и плотной коже шеи и лица. Такая прочная кожа бывает только на рабочих мускулах и сама кажется продолжением мускулов.

– Вы в Большом Ровном бывали? – спрашиваю я шофера.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Вчера водку в сельпо возил. Целую машину...

Жара и степь раздражают меня – за два часа ни деревца, ни кустика, ни клочка тени. Один раз шофер останавливал грузовик, бегал к колодцу за водой, а я, выскочив из кабины, – там не усидеть и секунды, когда машина стоит, – томился рядом с разогретым потрескивающим железом. На Куйбышевской ГЭС летом тоже бывало жарко, но там не было этого безнадежного душного томления.

– Скажите, а в Большом Ровном есть где искупаться?

– Бани нет.

– Не баня – речка или пруд?

– Говорят, были пруды, а сейчас что-то не видно. Говорят, лет пять назад в сильное половодье плотины посрывало.

– Скажите, – спрашиваю я, – а почему районный центр называется Ровное, а хутор – Большое Ровное? Он больше райцентра?

– Больше? Хутор маленький. Ровное по сравнению с ним – село! А почему так называли, кто ж его знает, – шофер крутит головой. – А и правда, хутор маленький, а название большое! – смеется он.

Машина тянет на подъем. Рычит помаленьку. Я бессильно, как рыба, хватаю неподвижный воздух – он весь пропитан испарениями моего тела, пересыпан пылью: потри палец о палец – и услышишь скрип. Шофер тоже слегка морщится, но не думает прибавлять газу. Как будто его не тянет поскорее перевалить через бугор навстречу ветру. Наконец грузовик выбирается на прямую, я перевожу дыхание и вдруг замечаю на горизонте длинную, на много километров, голубую, сверкающую отраженным солнцем полосу. Оказывается, здесь есть какое-то водохранилище! Мне сразу становится легче. Пусть не рядом с хутором, пусть за десяток километров, но вода! Большая вода! Каждый день я туда не смогу ездить, но думать о ней, о том, что она рядом, я смогу каждый день. А по воскресеньям буду ездить на попутных...

– Это что за водохранилище? – спрашиваю шофера.

– Где? – удивился шофер. – Это? Это мираж.

Стрелка на спидометре колеблется у цифры «60», в кабине гуляет ветер, но лишь теперь мне становится по-настоящему жарко. Вообще-то я ни на что особенное не рассчитывал, но в речку или там в пруд я почему-то верил...

Глава вторая

1

С Куйбышевской ГЭС я привез несколько тетрадок пейзажных зарисовок. Там были места! Например, против Комсомольска (наверно, на каждой большой стройке есть свой Комсомольск). Пройдешь небольшой сосновый лесок к поляне над Обрывом (это место так и называется – Обрыв) и остановишься. А потом обязательно сядешь. Нельзя не сесть: то, что откроется перед тобой, не осмотришь за пять минут. И, может быть, самым удивительным будет воздух – с Обрыва его каждый может увидеть таким, каким его, наверно, видят и чувствуют летчики, – густым и синим, средой, в которой можно летать и плавать. Он заполняет пойму, которую с Обрыва видно на десяток километров вправо и на десяток влево. Если где-то за десять километров над Волгой идет дождь, ты увидишь его. Ты увидишь синий след от тучи – столб тени, который плывет вместе с тучей через пойму, – комки белого дыма от взрывов в каменоломне на правой стороне Волги, черно-синие сосны Жигулевских гор и длинную белую плотину... Но я не об этом. В тетрадках, которые я привез, нет ни одной записи о людях. И не потому, что люди были скучней пейзажа, – люди были в тысячу раз интересней. Но, честно говоря, делая записи, я невольно примерял их к тому, как они будут выглядеть в моих будущих рассказах. И вот, если волжские пейзажи легко ложились в мои тетрадки, если я легко мог представить себе картины стройки в будущей повести, то людям, с которыми я встречался (и вовсе не обязательно зэкам), в литературе пришлось бы туговато. Да что там! В литературе

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru тех дней они были бы просто немыслимы.

Теперь я решил записывать. Вести что-то вроде дневника. Идет пятьдесят пятый год, уже пора вспомнить, что если литература – не исследование, то ею просто не стоит заниматься.

Машина ушла, и я остался в самом центре хутора. Подавая мне чемодан, шофер сказал:

– Это самый центр и есть. Вон где детишки стоят – клуб, через дорогу – школа. Вот та хата – магазин, рядом – забегаловка. А вот там, под красным флагом, правление колхоза.

Машина ушла, а я, ослепленный, – солнце такое сильное, что его отражает даже побелевшая, растрескавшаяся земля, – стою, так и не понимая, где клуб, где школа, а где правление колхоза. Длинный белый сарай без окон – клуб? Хата с деревянным крылечком – школа?

Защищаясь от солнца ладонями, меня внимательно рассматривают две девчонки; к ним подходят двое мальчишек лет по тринадцати – наверно, мои будущие ученики – и тоже застывают, уставившись на меня. И я, может быть, впервые за свою жизнь вдруг отчетливо вижу себя со стороны. Ну и картинка! Длинный, плохо подстриженный тип в спортивных брюках, в пропотевшей, помявшейся шведке, на лбу и щеках, как на запыленном стекле, пальцем писать можно. К тому же очки. Очки мне всегда мешали. Втайне я хочу выглядеть этаким бывалым парнем, полублатным задирой (защитная окраска «не тронь меня»), а очки мешают. И деревянный чемодан. Надо бы кожаный, а он деревянный.

– Девочки, – спрашиваю я, – где у вас школа?

Девочки еще несколько мгновений рассматривают меня и вдруг – «гы-ы!» – бросаются бежать.

– Вы что, – рассерженно обращаюсь я к мальчишкам, – на такой простой вопрос ответить не можете?

– Ось, – тычет указательным пальцем куда-то за мою спину мальчишка, и оба – в длинных черных брюках, в рубашках с неподвернутыми рукавами – равнодушно поворачиваются ко мне спиной.

Я подхватываю свой чемодан и отправляюсь на поиски кого-нибудь повзрослее.

Взрослого, заведующего клубом, я нашел быстро. Оказалось, шофер был прав: длинный белый сарай – это клуб, небольшая хата с деревянным крылечком – школа, место, где он меня высадил, – центр. Не середина – в хуторе вообще нет середины, дома разбросаны в степи. А тут грейдерная дорога на Черные земли, рядом с грейдером правление, забегаловка, магазин, клуб – вот и центр.. Директора школы сейчас в хуторе нет, он в отпуске, приедет завтра или послезавтра.

– А кто его замещает?

– Замещает? Ходимьте, я вас провожу тут до одного учителя.

Провожать, однако, далеко не пришлось. Учителю уже кто-то сказал обо мне, и он торопится навстречу. У этого человека было, на мой взгляд, слишком много для учительской профессии ярких примет. Его могли дразнить и «рыжим», и «пятнистым», и еще бог знает как. Ему можно было подбрасывать записки: «Займи веснушек». Или: «Смотри не спали школу». При всем том он был еще и маленького, не внушающего уважения роста. И слишком любезен. С той минуты, как он мне протянул руку, я накрепко стал Андреем Николаевичем. Отчество, прибавленное к моему имени, совсем не польстило мне. Напротив, что-то осложнило.

– Вам с дороги надо умыться и пообедать. Идемте ко мне на квартиру.

– Да не очень-то беспокойтесь. Мне бы только устроиться на ночь. А то я эту ночь не спал.

– Конечно, конечно, все постараемся устроить. В случае чего вы переночуете в

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru учительской. Там у нас диван.

– Ладно. Черт с ним. В учительской так в учительской.

И дальше мы беседовали в том же духе. Я его пытался сбить куда-нибудь на «ты», а он все вытягивал и вытягивал на «вы». Кажется, ему доставляло удовольствие называть меня по имени-отчеству.

– Андрей Николаевич, вы какое любите полотенце – вафельное или обыкновенное? А то у меня вафельного нет.

– Все равно.

Я стоял, широко расставив ноги, во дворе хаты, где учитель снимал квартиру, а он сливал мне воду на руки из большой алюминиевой кружки. Потом повел меня в летнюю кухню, усадил за стол и, пока я осматривался и принюхивался к прохладному сырому кизячному запаху, шедшему от стен, от земляного пола кухни, сходил за хозяйкой куда-то на огород. Плотная, крупная хозяйка молча и вежливо разлила нам борщ. Он меня спрашивал:

– Вы с горьким перцем или с чесноком? А то есть – не любят с перцем.

И рассказал историю, к которой доброжелательно и заинтересованно прислушивалась хозяйка, – о человеке, который не любил борща с перцем. Это был учитель, с которым рыжий где-то работал, бо-ольшой оригинал, судя по всему.

– Як же це без перца? – недоверчиво отозвалась хозяйка.

– А соли вам достаточно? – спросил рыжий.

– Вполне.

– Тимофеевна, – сказал рыжий, – помните, позавчера вы недосолили?

– Ни, то не позавчера.

– Андрей Николаевич, она ни за что не сознается!

Я не люблю водку, а в такую жару и вовсе не выношу, но пить мне почему-то приходится часто. Вот и сейчас подошел такой момент, когда от выпивки не отвертеться.

– Скажите, – спросил я, – а что вы делаете вечером?

– Вечером? А что делать вечером? Кинопередвижка была вчера, значит, сегодня не будет. Если кто на гармонии играет, зайдет в клуб...

– Слушайте, – сказал я, – для знакомства надо нам с вами выпить. Мне говорили, что в ваш магазин привезли водку.

Вначале мне показалось, что мое предложение покорило рыжего, так он сильно покраснел. Но потом я понял, что он обрадовался. Он тайком кивнул в сторону хозяйки, призывая меня к секретности, встал, поблагодарил Тимофеевну и сказал с прозрачной многозначительностью:

– Пойдемте, я вам покажу школу.

– Сходить, сходить, – сказала Тимофеевна.

Едва мы вышли, как рыжий схватил меня за руку:

– Вот вы так открыто, а люди знают здесь какие? Завтра же весь хутор будет знать, что новый учитель сразу к водке потянулся.

Смущение рыжего не проходило, даже усиливалось. Наконец он объяснился: у него не было денег.

– Да вы-то при чем? Я ж новенький, я и угощаю.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Нет, Андрей Николаевич, не говорите...

Мы вошли в забегаловку, вернее, протиснулись. У маленького прилавка, где рядом могло стоять не больше трех человек, толпилось человек семь. Крупные, молодые ребята. Они молча уставились на меня. Один из них вдруг широко улыбнулся и с иронической лъстивостью поздоровался с рыжим:

– Здравствуйте, Иван Антонович.

– Здравствуй, Натхин.

Рыжий держался за моей спиной. Кажется, он заискивал перед ребятами.

– Это ваш новый учитель по русскому языку и литературе, – сказал он Натхину, – Андрей Николаевич.

– Вас зовут Андрей Николаевич, – с той же иронической лъстивостью повернулся Натхин ко мне, – вы будете преподавать русский язык и литературу?

Ребята у прилавка зашевелились.

– Вы будете преподавать в пятых, sixth и седьмых? Эге ж?

Шутка состояла в том, что Натхин нагло переспрашивал то, что ему уже сообщили.

– Все узнаешь первого сентября, – сказал я.

– А сейчас и побалакать с вами нельзя? От такой вы гордый?

Я взял водку и консервы, и мы пошли в школу. У рыжего были ключи, он снял висячий замок, сунул его себе в карман и толкнул дверь. Из коридорчика пахнуло многодневной просушенной пылью.

– В этом доме один класс и учительская. Еще два класса в соседней хате. Классы я вам потом покажу. – Рыжий торопился. В нем росло радостное возбуждение. Из маленького коридорчика он провел меня в маленькую комнату. – Наша учительская.

До потолка учительской я мог бы дотронуться макушкой. Тем не менее это была учительская. Здесь стояли неприменный диван – наверно, его сначала принесли, а потом вокруг него возводили стены, иначе непонятно, как он сюда попал, – маленький столик, покрытый зеленой суконной скатертью, три стула, шкаф, покачнувшийся на просевшей половице. На зеленой скатерти – председательский графин с толстой пробкой и стакан.

Иван Антонович понюхал воду в графине и сморщился:

– Сейчас свежей принесу. И стакан ополосну. У нас тут рядом бассейн.

Он задернул пыльную занавеску на низеньком окошке и выбежал. Я не мешал ему и не пытался помогать. Видно было, что ему нравится вся эта подготовительная суэта.

– Что это за бассейн? – спросил я у него, когда он вернулся, отирая ладонью мокрые бока и доньшко графина. – Так по-местному называется колодец?

– Нет, колодец – это колодец, а бассейн – бассейн. Почвенная вода здесь солоноватая, ею только огороды поливают да скотину поят. А пресную воду держат в цементных бассейнах. Собирают дождевую воду, снег зимой...

– И это пьют?

– А как же!

Он ловко вскрыл банку рыбных консервов, откупорил бутылку, налил в стакан водку не до самого верха – «чтоб еще на два раза хватило», – перелил водку в жестяную кружку, которую достал из шкафа, налил водки в стакан еще раз и передал его мне.

– Ну, со знакомством!

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Я выпил сразу, а он долго морщился, с отвращением принюхивался к кружке, несколько раз подносил ее ко рту и все не решался выпить. Пил он медленно и тоже морщась, выпил до дна и не потянулся закусывать, а посидел неподвижно, к чему-то прислушиваясь в себе, и только потом взял из банки кусочек рыбы.

– Неудобно всё же, что у меня нет денег, – опять начал он. – Я как раз недавно отослал деньги семье. Я все деньги перевожу семье.

Он говорил «семье», а не «жене».

Потом мы выпили еще раз, и он стал рассказывать о своей семье, о детях, которые почему-то живут не с ним, говорил, чтобы я не беспокоился, что мы пьем в учительской и что в забегаловке нас видел Натхин. А я не беспокоился. Мне было все равно. По-настоящему все равно. Пьяница этот рыжий Иван Антонович или не пьяница, переводил он деньги семье или не переводил, видел нас Натхин или не видел. Я думал о том, как я мог рискнуть уехать со стройки, где я и в Шлюзовом поселке, и в Комсомольске, и в Портовом здоровался с каждым вторым, где мой старший прораб давно обещал перевести меня на должность инженера, если я подам документы на заочное отделение гидротехнического и переквалифицируюсь... «Чего тебе, – говорил он, когда я попросил уволить меня, – ты же уже законченный производственник («производственник» – была высшая аттестация, которую он мог дать). И сам подумай, где ты еще такое найдешь? Самая большая в мире ГЭС...»

– Директор наш не очень-то ждал вас, Андрей Николаевич. Как сказали ему, что едет учитель, у которого почти законченное высшее образование, так он...

– Что ему до моего высшего образования?

– А как же! У него нет законченного среднего. Сколько лет учится в учительском, а никак не закончит. А у вас почти высшее! За место свое боится. Он тут на хуторе прижился, дом строит. Директорства он давно добивался, еще при Галине Петровне, бывшем директоре, – она теперь секретарь райкома комсомола. Вот он с ней воевал! Но Галина его держала! Она и не таких на место ставит...

Я опять перестаю слушать рыжего Ивана Антоновича. Я прислушиваюсь к необыкновенной, незнакомой мне тишине. И в учительской, и в школе, и вокруг школы такая тишина, с которой мне еще не приходилось сталкиваться. Какие-то стокилометровые завалы тишины, целые пласты тишины, горы тишины. Отсюда, из такой вот учительской, из такого абсолютного беззвучия, сомнительно существование шумных городов, строек. И мне в этой тишине жить, может быть, годы... Всю жизнь я терпеть не мог слабаков и нытиков, тех, кто из-за собственной неудачи готов обляпать целый свет. Если мне попадался какой-нибудь слабак, если он пытался найти у меня сочувствие, я обрушивался на него с яростью, а тут я сам начал скисать...

– Андрей Николаевич, продавщица мне верит в долг. Хотите, я возьму еще?

Я отсчитываю деньги на пол-литра. Иван Антонович был настоящим пьяницей, мягким, податливым. Он присматривался ко мне, принюхивался и в благодарность за водку старался говорить только приятные вещи. Вначале он убеждал: «И здесь жить можно. Кто в городе больше любит, а кто – здесь...» Потом сочувственно сокрушался: «Если бы не семья, не сидел бы я в этой дыре! Тут до вас учитель литературы был. Он говорил: «Я на Камчатку поеду, так смогу сказать – был на Камчатке! А тут похуже всяких Камчаток, а сказать нечего. Только что за сто двадцать километров от железной дороги».

2

Рыжий Иван Антонович помог мне стать на квартиру. Это традиционная учительская квартира: до меня здесь жила бывший директор школы, теперешний секретарь райкома комсомола Галина Петровна, еще раньше – один преподаватель литературы, и вообще во все послевоенные годы здесь живут учителя (хозяйская дочка тоже учительница, она заведующая и единственный преподаватель начальной школы в соседнем хуторе; живет она с мужем в большой хате, которую видно из хозяйского двора, – двор стоит на склоне пологого холма).

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru – До войны мы, Андрий, – сказала мне хозяйка (она мне сразу стала говорить «ты»), – чужих людей к себе не пускали, а теперь пускаем. Колхоз не платит, еще ему остаемся должны; на базар с огорода ничего не возим – далеко, вот и пускаем чужих людей.

«Чужой» – меня резануло, уж больно бесхитростно и равнодушно это у хозяйки прозвучало. Кажется, ей было все равно, стану я к ней на квартиру или не стану, не волновалась она и называя цену, цена известная, назначается здесь из года в год. И вообще все заранее известно: и моя комната, и моя кровать, и приплата за стирку белья: «Ты ж, Андрий, сам стирать не будешь. То бабы у нас стояли, они стирали сами. Мыло сам покупать будешь...»

Хозяйку мы застали в летней кухне, руки у нее были в глине – она подмазывала печку. Так она с нами и разговаривала, оторвавшись от работы, держа на весу вымазанные тяжелой глиной руки. Я принес из школы чемодан, расположился в хате, а она все мазала свою печку. Потом вошла в комнату, увидела на гвоздике с катушкой мой плащ, на столике рядом с кроватью – мои книги, должно быть, решила, что я все понял и сделал правильно, и позвала меня обедать.

По дороге в летнюю кухню она предупредила:

– Исты то же, что и мы. Отдельно мы не готовим.

– Ну, конечно! Само собой.

Я уже начал привыкать к хозяйственной манере выкладывать всё сразу и без обиняков. За обедом я у нее спросил:

– А что скажет хозяин? Может, я ему не понравлюсь?

И Марья Трофимовна бесхитростно объяснила:

– А вин уже знае.

– Как знает? Он же меня не видел.

– Не бачил, – согласилась хозяйка, – так люди ж бачили. Як ты, Андрий, прихав, так мы побалакали: попросишься на квартиру – мы примем.

Оказывается, я еще ничего не знал, пил водку с рыжим, а меня уже ожидала комната – единственная настоящая комната в хате, зало с деревянными полами, с деревянной кроватью, отделенной от остальной комнаты чем-то вроде альковного полога – занавеской, протянутой от выступа большой русской печи к стене. Ожидали меня два стареньких тонконогих столика, на одном из которых стоял патефонный ящик и картонка с шестью пластинками Шульженко, а на другом – керосиновая лампа и альбом с семейными фотографиями. В этом альбоме, должно быть, хранились те фотографии, которые не уместились на стенах комнаты. На стенах, придавая им странно траурный вид, под рамками и без рамок висели десятки, если не сотни карточек, запечатлевших почти все праздничные, торжественные или скорбные дни семьи: свадьбы, застольные встречи, поездки в районный центр, проводы в армию, похороны...

Хозяин пришел перед закатом солнца, и я удивился молодости его лица и походки (хозяйка несколько раз называла его «дед Гришка». Странно: дед и... Гришка!). От ворот через двор шагал высокий худой человек лет сорока пяти, шагал широко, и только то, что он слегка оседал при каждом шаге, говорило, что он, пожалуй, лет на пять старше, чем кажется. Переступая порожек низких дверей летней кухни, он легко нагнулся, увидел меня, но не подошел сразу знакомиться, а только чуть улыбнулся – мол, «знаю, знаю» или: «значит, ты уже здесь», – вытряхнул из матерчатой кошелки, которую принес с собой, на пол, рядом с печкой, несколько свежих деревянных обрезков вместе с горкой свежей стружки, снял фуражку со старым сломанным козырьком и аккуратно повесил ее на гвоздь с катушкой, пригладил редковатые, но не седые волосы, спросил, как, наверно, каждый день в это время спрашивал:

– Мать, дашь поснидать? – И только тогда повернулся ко мне: – Ну, как на новом мисте?

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Я мог бы сказать «нравится», мог бы пожать плечами – вопрос и был задан так, чтобы не утруждать меня ответом. Да и относился он к хутору вообще, к степи, а не к квартире, на которой я остановился. Обошлись мы и без рукопожатия – дед Гришка пристроился мыть руки над тазиком (потом я заметил, что хуторяне здороваются за руку чаще всего в официальных, торжественных случаях). Разлив оставшуюся в кружке чистую воду по земляному полу кухни, хозяин сел за стол.

Ел он не много и не жадно. Как-то хорошо, уважительно ел. Иногда задавал вопросы, но больше расспрашивала меня хозяйка – до его прихода она вообще ни о чем не спрашивала меня, – а он молча ел и слушал. Когда он доел свой борщ и свернул махорочную самокрутку, мы с ним уже кое-что знали друг о друге. Он знал, что я намерен прожить в хуторе года два, что мне еще надо закончить институт, что дома у меня есть отец и мать. Я знал, что он в колхозе плотничает, что, кроме дочери-«учительки», у него есть еще и сын, который в городе учится на ветфельдшера, что в хате я никого не буду стеснять, потому что зало – комната парадная и в ней никто бы все равно не жил. Они с женой все лето и осень спят в летнике.

Выкурив самокрутку, хозяин встал и тем же широким, размеренным шагом вышел во двор, взял вилы, стоявшие у стены летника, и направился к коровнику. Так и ходил он весь вечер по двору: выбрасывал из коровника непросохший еще кизяк, резал лопатой уже просохший и носил его в сарай.

К ужину он вернулся в летник, неторопливо мыл руки, пил забеленный молоком присоленный калмыцкий чай, рассказал жене о какой-то, должно быть, очередной и потому не очень удивительной и смешной неудаче хуторского пастуха, пришедшего человека, который мыкается и с хуторским стадом, и на собственном огороде, и ничему не может дать ума. «Оно, Андрий, не ледаще. Старается, а ума дать не может. До сельского хозяйства негож», – без особого сочувствия к нерасторопному пастуху, мимоходом пояснил мне хозяин, и я невольно почему-то подумал о себе, что и я бы «не дал ума» и хуторскому стаду и собственному огороду.

После ужина хозяин подвинул поближе к свету деревянный ящик, достал из него сапожный ножик и стал им откалывать от узкого белого брусочка тонкие щепочки.

– Гвозди делаете? – спросил я.

– Дид наш сапожничает, – ответила вместо хозяина хозяйка и пояснила, как бы опасаясь, что я не пойму: – чоботы або валенки починяет.

– Всем?

Оказалось, что не всем (хозяйка даже не поняла меня), а для своей семьи. Не возить же порвавшиеся сапоги в райцентр!

Хозяин молчал и улыбался. Мне нравилась его улыбка – сдержанная и чуть ироническая. Нравилось очевидное самоуважение: «ты – учитель, мы тебе сдаем лучшую комнату, хозяйка будет тебя обстирывать и готовить тебе есть, но это ничего не значит». Нравилась его джентльменски (именно джентльменски! – подумалось мне тогда) сухопарая фигура, на которой ловко сидели старые брюки и пиджак, давно утративший жесткость бортовок, но тем сильнее подчеркивавший жесткость и ширину дедовских плечей. Понравилось мне (не сразу, а потом, когда я, лежа в кровати, разбирался в своих впечатлениях) и то, что дед расспрашивал меня мало, да к тому же о самом простом: об отце, матери, о том, как живу. Город, из которого я приехал, стройка, на которой я работал, его не интересовали. Наверно, он уже знал о них ровно столько, сколько считал необходимым знать. И вообще я, учитель, только что приехавший из большого мира, не вызвал у него и у хозяйки того интереса, на который я, признаться, с самого начала рассчитывал и к которому себя невольно готовил. Может, это потому, что я «до сельского хозяйства негож»? Может, потому, что в этой хате давно привыкли к учителям и уже выпросили у них все, что можно было выпросить?

3

Утром следующего дня ко мне приехал на велосипеде Иван Антонович. Важный, даже надутый. Ни намек о нашей первой встрече, и та же, как в первый день, готовность величать меня только по имени-отчеству.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Андрей Николаевич, – сказал он торжественно (ему приятно было говорить со мной тоном старшего, старожилы, просвещающего новичка), – нам надо объехать наших учеников, посмотреть, кто как подготовился к новому учебному году. Надо выполнять закон о всеобуче.

– Может, сходим пешком, – с сомнением сказал я, – у меня же нет велосипеда.

– Что вы! Знаете, сколько это километров! Попросите у хозяев. Они вам охотно дадут. Я всегда беру у своих хозяев, и они охотно мне одалживают.

Пришлось мне просить велосипед у хозяйки.

– А возьми, Андрий, – сказала она, – пока у тебя своего нет.

Велосипед был старый, без крыльев, со вмятинами на раме, но шел легко, и я с удовольствием покатил рядом с Иваном Антоновичем. По дороге он мне рассказывал, как трудно на хуторе выполнять закон о всеобуче.

– Неужели в школу не ходят?

– А у кого обуви нет? Зимой и бросят. Мать, знаете ли, одна. Вот второгодник Фисенко, вам с ним тоже придется мучиться, – отца нет, убило на войне. Тут многих хуторских на войне поубивало. Деревня, знаете ли, вся в пехоте была. Город – это артиллерия, самолеты или там танки, а деревня – пехота... Я как-то даже из любопытства подсчитал, сколько человек в нашем хуторе не вернулось, если это разложить на дома... Я, знаете ли, – пояснил он, – краеведением тогда интересовался, собирал разные сведения... Так вот, очень много вышло, очень много. Просто боюсь вам сказать, как много... Ну, ребята и без отцов. А когда мать одна, какой же доход? А есть и просто так не посещают, из зажиточных семей. На сакман идут, чабанам помогают или еще как зарабатывают. Сусликов ловят. Суслики – это заработок. Есть такие охотники – по восемьсот, по тысяче рублей в месяц зарабатывают, но это взрослые, которые в колхозе работать не хотят, или приезжие сусликоловы. У них снасти, капканы, а ребята много не заработают.

– А что вы делаете, когда кто-нибудь бросает школу?

– Уговариваем, проводим воспитательную работу. Через сельсовет обязываем.

– Возвращаются?

– Возвращаются... по большей части. А занимаются плохо. По правде говоря, ничего не делают.

– Ну, а хорошие ученики есть? Чтобы у них все было в порядке?

– Есть, как же, есть. – Иван Антонович даже испугался. – Это я вам так, о некоторых местных особенностях... А вы все сами увидите.

Однако в тот день много увидеть мне не удалось. Мы скоро расстались с Иваном Антоновичем. В хуторе Калининском – там живет половина учеников нашей школы – Иван Антонович слез с велосипеда в самом центре, у большой, тщательно выбеленной хаты, постучал в дверь, обещающе подмигнул мне и сказал:

– Сейчас!

За дверью началась суета – должно быть, нас увидели из окошка. Наконец дверь открылась, на порог вышла женщина в платочке, которым, наверно, только что подвязалась.

– Здравствуйте, Иван Антонович! – сказала она, и на лице ее появилось смущение.

– Приехали посмотреть, Матвеевна, как вы готовитесь к новому учебному году.

– Книжки, абы, как их, учебники?.. Вже купили.

Матвеевна пригласила нас в хату. Иван Антонович прислонил свой велосипед к стене, вынул из креплений на раме насос и опять обещающе подмигнул мне.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Зачем насос берете с собой? – спросил я.

– Чтоб мальчишки не украли, – сказал Иван Антонович. – Велосипед не украдут, не беспокойтесь, а насос – могут. Не из корысти, а так, похулиганить.

Мы вошли в хату, похожую на хату моих хозяев, только еще более грубую, с земляными полами и в первой комнате, и в «зале». Окна первой комнаты были закрыты ставнями от жары. В полумраке я разглядел большую серую печь, белый самодельный стол и белую, вкопанную в пол скамью. На скамейке в темном углу сидела девочка. Она не поздоровалась ни с Иваном Антоновичем, ни со мной, и я лишь потом, с запозданием, догадался, что это, наверно, и есть та ученица, ради которой мы приехали.

– А чего ж это Галина не выйдет к нам? – спросил Иван Антонович и сел на стул. Он сел надолго, удобно развалившись, и показал мне на табуретку.

– Да мы ж сейчас поедем, – сказал я.

– Садитесь, садитесь, – подмигнул Иван Антонович. – Так где же Галя?

В первой комнате поднялась возня.

– Выйди, Галя, к учителям, – убеждала Матвеевна. – Нехорошо. Ты ж ученица!

– Не хочу!

– Как же это ты не хочешь? – вмешался Иван Антонович и посмотрел на меня.

На его веснушчатом лице была разлита пренеприятнейшая благостность. Я вспомнил, как он разговаривал в забегаловке с Натхиным, и подумал, что от Натхина он не стал бы требовать, чтобы тот вышел и поздоровался.

Наконец Галя выглянула, сказала «здравствуйте», стрельнула в мою сторону живыми, любопытными глазами и убежала.

– Як тэ ягня, – сказала о дочке Матвеевна.

– А это наш новый учитель, – показал на меня Иван Антонович, – вместо Игоря Владимировича.

– На квартире у деда Гришки и у той, у Трофимовны?

– Да.

– Ото у них завсегда учителя стоять.

Теперь, кажется, все было исчерпано, надо было уходить, но Иван Антонович все сидел и мне показывал бровями, что надо сидеть, что самое главное впереди.

И мы высидели это главное.

Матвеевна достала из шкафчика два полотенца и расстелила одно из них на коленях удовлетворенно кивнувшего мне Ивана Антоновича, а второе подала мне.

– Я вам поснидать приготовлю, – сказала она в ответ на мой удивленный взгляд. – Вы ж далеко йихали, устали.

Что-то вроде этого я уже начал подозревать.

– Нет, нет, – наотрез отказался я, – спасибо. Нам некогда.

– Тогда возьмите вот это, – заступила мне дорогу хозяйка, протягивая большую буханку хлеба.

– Да что вы?! Да зачем мне это? – Я был по-настоящему испуган. Должно быть, Галя, которая, судя по ее глазам, совсем не «как тот ягненок», сидит в соседней комнате и прислушивается к этой безобразной сцене. – И Ивану Антоновичу это

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru совсем не нужно! – с нажимом добавил я, видя, что хозяйка передает хлеб рыхлему историку.

Но Иван Антонович будто не слышал меня. Он сидел, упрямо потупившись, и, кажется, собирался «снидать».

Я вышел во двор. Насос мой был на месте. Я хотел уехать сразу, но потом решил подождать. Ждать пришлось мне довольно долго. Иван Антонович все-таки «снидал». Вышел он, прижимая к груди буханку хлеба.

– Андрей Николаевич, – сказал он, – вы молодой человек, вы не знаете...

– Отдайте хлеб, Иван Антонович! – Я не смотрел на него: он боялся сейчас меня и почему-то не мог отказаться от этой дурацкой, безмерно унижавшей и его и меня буханки хлеба. – Отдайте!

Он вернулся в хату.

Дальше я с ним не поехал, да он и не звал меня.

Глава третья

1

На учительской конференции я сижу рядом с дочкой моего хозяина, Валентиной Григорьевной. Я уже получил какое-то представление о «специфике» работы в местной школе – принимал экзамены у тех, кто имел переэкзаменовки на осень. «Значит, что? – сказал мне директор перед тем, как мне идти на экзамены. – Какое положение у нас с русским языком, вы уже знаете. Слышали, как говорят местные жители? Ребята у нас тоже так говорят. Бесспорно, на уроках мы проводим большую работу, но и те, кто имеет положительные оценки, и те, у кого переэкзаменовки, пишут не так, как в городских школах. Значит, что я вам могу посоветовать? Возьмите их на свою совесть, а в году будете с ними работать, будете добиваться...»

Глаза у него при этом были светлые-светлые, чуть-чуть остекленелые – пойди пойми, дружеский это совет, желание помочь или полностью отстраниться?

Фамилия одного из тех, кого я должен был взять на свою совесть, – Парахин. Здоровый парень, ему скоро в армию идти. Учится он с перерывами, года два зимовал с отарами на Черных землях. Ни отца, ни матери, ни старших братьев – младший брат есть. Воспитывался у полуглухой бабки и с запозданием научился говорить. Меня поразил его затравленный взгляд, именно затравленный, – когда я у него что-то спросил. Сидит за партой крепкошей, загорелый, сильный человек, давит на парту тяжелыми локтями, медленно поворачиваясь всем корпусом, следит за мной, когда я хожу по классу, и вдруг начинает бледнеть, когда я у него что-нибудь спрашиваю. И в глазах этакая затравленность.

– Скажи, Парахин, ты понимаешь, что такое часть речи?

– Понимаю.

– Назови мне какую-нибудь часть речи.

Молчит.

– Хорошо. «Парта» – это какая часть речи?

Затравленно молчит.

Я понимаю, что пора бы уже обойтись без эпитета «затравленно». Но я не могу подобрать другого слова, которое точнее определяло бы упорное, беспомощное молчание.

На консультации я дал диктант. Парахин писал и умоляюще смотрел на меня, просил, – молча просил – не торопиться. В классе, разумеется, хихиканье. Проверил я его работу, а там не то чтобы ошибки – половины слов недописаны, фразы оборваны

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru посередине.

Оставил его после консультации, написал с ним еще один диктант. То же самое. Тогда дал ему учебник – пользуйся, как хочешь, выполни только за два часа вот это простое упражнение..

– Парахин, как ты добрался до шестого класса?

Молчит.

– Что мы будем с тобой делать?

Молчит.

Взял я его на свою совесть. Почему? Может, потому, что другие брали его на свою совесть? Может, потому, что парень уже мог бы махнуть рукой на школу, на всеобщ и пойти на заработки, а он хочет сам, без чьего бы то ни было понуждения, закончить школу? Может, потому, что я поначалу слишком щедр? Не знаю..

Или вот еще один.. Ходили ко мне на консультацию из хутора Калининского трое хлопчиков, а на экзамены пришли только двое. А где третий? Заболел? Ребята смеются: «Собак испугался». Я догадываюсь: ребята острят – хуторские мальчишки собак не боятся. Пошел после экзаменов (велосипед у хозяйки постеснялся просить) в хутор Калининский, протопал пять километров, разыскал хлопчика – он как ни в чем не бывало играет у себя во дворе. Оказывается, действительно собак испугался, вышел за хутор, а тут огромные псы с ближайшей овчарни, он и повернул домой.

– А как же два твоих товарища?

Мнется, но не то чтобы очень. Ждет, когда я отвяжусь. И ведь не то плохо, что собак испугался, а то, что повернул он прямо домой, не побоялся сразу же вернуться к матери и бабке и сказать им, что не пошел на экзамен. И те не заволновались, не отправились его провожать. Не был на экзамене – и ладно. Как-нибудь потом..

Или еще.. Пришел ко мне прямо на экзамены – ни на одной консультации не был – Пивоваров, сын ветфельдшера. В ответ на мое «здравствуйте» символически приподнялся над партией.

– Стань как следует.

Стал.

– Почему не был на консультациях?

Молчит. Но совсем не так, как Парахин. Молчит вызывающе: «А что мне твои консультации?!»

Лицо у парня умное. Я бы сказал, интеллигентное. Кстати, у многих моих «осенников» лица оказались интеллигентными, одухотворенными, живыми, освещенными лукавством и любопытством. Вообще, мне кажется, у всех детей лица интеллигентные. Различия появляются потом.

Пивоваров плотный, невысокий, в длинном старом пиджаке. Хочет быть солидным и не менее взрослым, чем я. Но вот я не посчитался с этим и заставил его подняться над партией. И за это он меня презирает. Разве станет порядочный человек унижать другого человека?

Я уже знал, что Пивоваров – один из лучших учеников, книголюб, перечитал все книги в школьной библиотеке, что переэкзаменовка у него по болезни и догадывался, что ему не хотелось «смешиваться» с кандидатами во второгодники.. Писал на экзамене он изложение, закончил первым, положил на стол полтора листа исписанной бумаги – в два раза меньше нормы – и ушел. Я прочитал – ум у парня цепкий, логика безупречная, а грамматические ошибки есть.. Даже лучшие ученики у меня пишут с грубыми ошибками.

...Доклад на конференции делает заведующий районо Сокольцов. Широкоплечий,

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru квадратный, как кафедра, за которой он расположился, сильный мужик, сорок минут жует полный набор газетных штампов, и я никак не могу их связать с тем, что я уже делал и что мне предстоит делать. И не только я один не могу связать – в зале шумно. Из президиума несколько раз просили товарищей пересесть поближе – первые ряды десять пустуют. Но никто из глубины зала не откликнулся, хотя народ здесь собрался дисциплинированный. Даже слишком дисциплинированный. Люди с осуждением провожают глазами тех, кто на цыпочках проходит к выходу. Впрочем, таких немного. Трудно все-таки у всех на глазах (осуждающих!) подняться и выйти на улицу. Да и куда пойдешь?! Прямо перед клубом просохшая и прокаленная до самого центра земли площадь с пыльным, бестеневым, низкорослым сквером. В таком сквере по-настоящему и чувствуешь, какая стоит жара. А сквер пройдешь, упруешься в запертую – она откроется в четыре часа – «чайную». Повернешь от «чайной» назад – опять упруешься в клуб, где идет конференция. Правда, рядом с клубом и «чайной» есть магазины, но и они сейчас закрыты.

Иногда в зале смеются – это докладчик оторвался от писаного текста и произнес что-то на свой страх и риск. Докладчик явно малограмотен («будуть ходить», «будуть писать...»), и в зале замечают его ошибки...

– Минуту! – вдруг останавливает Соколькова человек в светлом чесучовом пиджаке, сидящий в президиуме. – Товарищи, я не вижу, чтобы у кого-нибудь в руках были тетрадка, бумага, карандаш! Товарищ Соколов, ваш непосредственный руководитель, говорит о важнейших, узловых вопросах воспитания, а никому из сидящих в зале не приходит в голову записать эти важнейшие вещи! Может быть, вы все знаете, и районное руководство напрасно собирает вас на конференцию?

– Они учёны! Чему их можно навчить?! – рассерженно отзывается Соколов. – Но мы с них спросим!

Тут я неожиданно для самого себя поднимаюсь, вежливо, как ученик на уроке, протягиваю руку:

– Можно вопрос? Вот вы, товарищ в чесучовом пиджаке, да-да – вы! Скажите, как надо писать глагол третьего лица «будут»? С мягким или без мягкого знака на конце?

2

На свою первую учительскую конференцию в районный центр я ехал вместе с дочкой деда Гришки, Валентиной, а вез нас ее муж, колхозный шофер Семен. Они заехали за мной на двухтонке, для этого им пришлось сделать почти километровый крюк, переехать через старую греблю на краю хутора. Первый раз в жизни мне к дому «подали» машину, и я очень смутился. Наверно, и Семен был очень смущен, слишком уж лихо рванул с места грузовик, слишком трясло нас на ухабах и кидало на поворотах. Все трое мы сидели в двухместной кабине, тесно прижавшись друг к другу, – я хотел залезть в кузов, но меня туда гостеприимно не пустили – и напропалую острили. То есть, острил я, Семен иногда вставлял «а то!» или презрительно кривил губу, что одновременно означало и «спрашиваешь!» и «знаем! не лыком шиты!» Несомненно, как и все шоферы, Семен был на сто процентов бывалым парнем, но сейчас перед горожанином он хотел казаться бывалым на все двести. И это не позволяло нам разговориться. К тому же Семен был занят: вел машину. Валентина сидела между нами, ей было и теснее и жарче, чем нам, но она охотно смеялась и тогда, когда я острил смешно, и когда я говорил глупости, и тогда, когда нас попросту подбрасывало под потолок кабины – всю дорогу Семен заставлял нас сидеть, нагнув головы. Так мы и ехали: я считал своим долгом остричь, а Валентина – смеяться. Впрочем, она смеялась не только из вежливости. Семен – это была первая распространенная фраза, которую он произнес, – так определил причины ее веселости:

– Вот баба! На три дня отрывается от дома, от дитя, от хозяйства... и рада!

Он не шутил. Он обращался за сочувствием. И я скис.

– А чего ж, – вялосказал я, – человеку погулять хочется.

– Ага-ага! – злорадно подхватил Семен. – Баба! Ей бы только погулять!

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru «Тонкостей» Семен явно не понимал или уж слишком был поглощен своими мыслями, чтобы замечать мое настроение.

– А что ж? Только тебе гулять? – спросила Валентина и посмотрела на меня.

– Кто гуляет? – спросил Семен.

Вспыхнула перепалка, которую Валентина вначале стеснялась вести, – новый человек рядом, что подумает! – а Семен – нисколько. Я понял, что для него настоящий разговор только сейчас и начался. Он мне отвечал «а то!», презрительно кривил губу, многозначительно вздергивал брови, а сам думал, что он скажет, когда наконец можно будет высказать свое настоящее. Вообще-то хуторской шофер Семен не был уж очень своеобразен – я встречал супругов, которым позарез нужен третий человек, чтобы хорошенько поругаться. Сами, вдвоем, они уже не могут сдвинуться с накрепко занятых позиций.

В Ровном, однако, ссора затухла. Семен оставил нас на площади у клуба и поехал куда-то по делам, а мы отправились в клуб зарегистрироваться у секретаря.

Я взял Валентину под руку и почувствовал, какая у нее крепкая, сильная рука. И вся она была крепкая и сильная. И шагала она легко. Вот только чувствовалось, что ей непривычно, чтобы ее вели под руку: так далеко, на отлете, она держала локоть, так напрягала его. Когда мы подходили к клубу, она смущенно освободилась от моей руки и пояснила: «У нас так не ходят».

В клубе к Валентине вернулось хорошее настроение. Она здоровалась с учителями – все были ей знакомы, – спрашивала, как они провели отпуск, – сама она из хутора никуда не выезжала, – заходила в магазины. В магазинах опять находила знакомых...

На конференции Валентина сидела возбужденная, довольная тем, что сидит здесь, в прохладной полутемноте, что сидит в кресле с откидным сиденьем и что Сокольников, заведующий роно, читает для нее такой большой, такой умный доклад. Она улыбалась, когда я передразнивал ошибки Сокольцова, но улыбалась вежливо, только чтобы не обидеть меня. Когда тип в чесучовом пиджаке спросил, почему учителя не конспектируют доклад, она засуетилась, покраснела – у нее не было с собой ни тетрадки, ни карандаша. Она не поняла моего раздражения, хотя и не осудила меня. Наверно, решила, что я просто озорничаю.

А что я делал? Конечно, озорничал. Я подстерег чесучовый пиджак – фамилия типа Мясницкий, он инструктор райкома – в тесных дверях и нарочно столкнулся с ним.

– Почему ходите, не глядя перед собой? – спросил я.

– Что такое? – изумился он и обошел меня.

А вообще я боюсь таких типов, которым ничего не стоит оскорбить целый зал.

3

На конференции я познакомился и поругался – сразу же! – со своей землячкой, учительницей литературы ровненской десятилетки. Меня выгнали из института в пятьдесят третьем, а она годом раньше окончила университет и с тех пор преподает в Ровном. Она спортсменка, в университете занималась гимнастикой (мне нравятся спортсменки – их не удивишь: «Вот какой я сильный!»), неплохо сложена, миловидна, с таким решительным комсомольским курносим лицом, на котором, кроме решительности, уже успело отложиться что-то профессиональное, я бы сказал, «суровая благочестивость», если бы слово «благочестивость» тут было уместно, что-то уж слишком ясное и твердое.

По гимнастике у нее первый разряд. Почти «мастер». Я спросил:

– По художественной или по спортивной?

Она пожала плечами так же, как пожал бы я, если бы у меня какой-нибудь пижон спросил, не занимаюсь ли я художественной гимнастикой.

– Спортивной.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– А теперь потеряла форму?

Она согласилась спокойно:

– Потеряла.

Было когда-то время – занималась гимнастикой, а теперь времени нет – деквалифицировалась.

Оказалось, мы бывали в одних и тех же спортивных залах, раза три могли встретиться на соревнованиях, у нас оказалось даже много общих знакомых – спортсменов и неспортсменов. Правда, не все из них одинаково симпатичны ей. «Морально разложившийся человек», – сурово сказала она об одном из них. Я насторожился:

– Почему?

Ее миловидное, решительное лицо отвердело, она пожала плечами:

– Не интересовалась.

Я возмутился: не интересовалась, а так говорит о человеке. Ее лицо еще более отвердело и прояснилось, она осадил меня: было решение комсомольского бюро, им его зачитали.

Тогда я бросился в бой. Я сказал, что нет ничего опаснее людей, у которых за плечами школа, институт и опять школа, людей, которые жизнь проходили по учебнику, а теперь других учат по этому же учебнику. Атмосфера, создаваемая этими людьми в учительской...

Тут она меня спросила:

– А почему вы идете работать учителем?

И еще она меня спросила:

– А чего вы, собственно, хотите?

– Чтобы невозможен был такой зал, который не взрывается при первой же фразе такого Соколькова.

Она сказала, что Соколов, хотя и малограмотен, человек вовсе неплохой, с заслугами в прошлом.

– Вот-вот, – сказал я, – Соколов неплохой, а мы тут все плохие.

Больше мы с ней не разговаривали, долго сидели молча. Потом она поискала, куда бы отсесть от меня, и отсела. Я смотрел ей вслед и почему-то думал о том, что у нее самая симпатичная в этом зале шляпка – этакая асимметричная соломенная завитушка.

Мы встретились еще раз на учительском вечере. Было несколько хороших номеров художественной самодеятельности. На сцену выходили прямо из зала. Спел или сплясав, кричали со сцены в зал: «А вы, Михаил Федорович, почему прячетесь?! На сцену! На сцену!» Михаила Федоровича выталкивали в проход между стульями, он упирался, а потом, махнув рукой, решительно шел к сцене.

Вышел на сцену и Соколов. Должно быть, он всегда появлялся на сцене на таких вечерах, потому что по залу прошел шумок: «Русскую плясать будет». Танцевал Соколов куда лучше, чем говорил: полсцены прошел вприсядку, сразу же вспотел, но не сдался – долго выделявал ногами что-то веселое.

Я посмотрел на Зину (ее зовут Зина). Она ответила мне профессионально ледяным взглядом (так она, наверно, на уроке осаживает нерадивых учеников) и зааплодировала Соколову: тебе, мол, снобу, не нравится, как веселятся простые люди, а мне нравится.

Глава четвертая

1

Честное слово, до сих пор при слове «деревня» я представлял себе что-то единообразное. Между тем для жителей районного центра мы, хуторяне, – провинция. Но и у нас, хуторян, есть своя провинция, откуда мы кажемся столичными жителями: бригады и фермы – скопления двух-трех домишек, затерянных в степи. Именно затерянных. В степи можно затеряться, и это не так уж безопасно, хотя волков здесь давно нет.

– После гражданской их тут много было, – говорит дед Гришка, – чабаны побили. Много чабанами побито. Последних двоих я бачив он на тим бугре, – показывает хозяин на вершину холма, у подножия которого стоит наша хата. – Побиг у хату, крикнул бате. Батя з трехлинейкой и выскочил...

И дед замолкает. Он часто так на полуслове замолкает. Считает свой рассказ законченным, хотя я еще ничего не понял. Если я спрошу, что же дальше, он усмехнется – чего ж тут непонятного! Его усмешка не безобидна: «Могу рассказать, но умный человек и так бы понял».

– Убил волков?

– Батя? Не-ет, – дед усмехается, – Не-ет, не попал.

И я чувствую, что и сейчас, почти через тридцать пять лет, ему почему-то приятен промах отца. Об отце дед почти никогда не говорит, но когда хозяйка говорит при нем об отце, дед молча улыбается вот такой иронической усмешечкой.

Они соседи – дед Гришка и его отец дед Степан – двор в двор, огород в огород, хата рядом с хатой. Но за два месяца я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из двух семей переступил осыпавшуюся канавку, которая разделяла два огорода. Однажды я невольно подсмотрел, как дед Гришка и дед Степан столкнулись на дороге. Дед Степан ехал на колхозной бедарке – он бригадир огородно-садоводческой бригады, ему положена лошадь, – а дед Гришка со своей матерчатой кошелкой в руках двигался ему навстречу. Поравнявшись с отцом, дед Гришка слегка кивнул, но не замедлил шага. Так и прошагал, не оборачиваясь, до самой хаты, у ворот которой сидел я, вошел во двор и сказал хозяйке:

– Бачила?

– Бачила, – кивнула она.

В конце сентября над хутором разразился ливень. Вода заструилась по трещинам расколовшейся и каменно затвердевшей земли, склеила эти трещины, пропитала почерневшую, набухшую спину рыжего пологого холма и, толкая перед собой комочки земли, двинулась вниз по канавкам, которых я до сих пор не замечал на гладком склоне. Из окна я увидел деда Степана. Он вышел под дождь босиком, крупная лысая голова его была не покрыта. Неторопливо двигаясь, он что-то копал перед хатой. «Отводит воду, чтобы дом не подмыло», – подумал я и спросил хозяйку:

– Чего он?

Дед усмехнулся, промолчал. Ответила хозяйка:

– Жадный вин, Андрий. Дождя ему мало. Всю воду собрать хочет.

Я не понял, и хозяин сам без моей просьбы пояснил:

– Хочет, чтобы, все, значит, по науке. На огород себе отводит воду. Землю насыщает аж на тот год.

– Он, Андрий, и снег зимой собирать будет, – сказала хозяйка. – Он такой!

Дождь продолжал лить, и хозяин, потоптавшись немного в хате, тоже вдруг зашпешил, вышел с лопатой на улицу и через минуту прорубал канавку к себе во двор.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Я уже не думаю о своем хозяине с тем почтительным удивлением («Простой человек, а гляди ж ты, какой умный!»), с каким думал о нем вначале. Я его не перестал уважать, но все же приглядываюсь к нему с некоторой настороженностью. Недели через две после того, как я остановился у них на квартире, дед Гришка мертвецки напился. Дружки, с которыми он пил, дотащили его почти до самой хаты, но в самую хату войти побоялись, и дед Гришка пытался преодолеть последние два десятка метров сам. Еще до того, как из хаты вышла хозяйка, он начал кричать, напрасно стараясь придать своему голосу грозную раскатистость:

– Кто здесь хозяин?! Что хочу!..

Хозяйка не испугалась, не удивилась и не смутилась. Она подхватила его сзади под руки, больно пинала в спину, а он бессмысленно взмахивал руками, мешал ей, кричал:

– Хата чья! Кто ее робыв?!

Заснул он в летнике, сидя на кровати, навалившись грудью на стол.

– Вот, Андрий, – скорбно сказала мне хозяйка, – когда мы тебя брали на квартиру, я и думала, чи брать, чи не брать. Визьмешь чужого человека, а тут такэ! Да и ты, сказали, добре водку пьешь. С Иваном Антоновичем. Думала, сойдется вдвох с моим хозяином... Вин же все гроши пропье, если ты будешь ему давать. Николы ему не давай. Перевстрене на дорози, а ты не давай. Я от него и сундук з вещами сына замыкаю. Як глаза залье, ему шо дитске, шо не дитске...

Дед давно заснул, а она все не могла успокоиться. Кляла «ту прокляту водку»:

– И когда она у тебя там все перепале! – И жаловалась мне: – Вин и так все себе внутри перепалив, я ночью николы на двир не встаю, а вин мабудь три раза.

Хозяйка не старалась сделать для меня «хорошее лицо». Она просто «завелась». А что я подумаю и захочу ли сменить квартиру, ей, кажется, было все равно.

И деду было все равно. Я думал, что проснется он поздно, будет долго лежать разбитый, а он встал, как всегда, на рассвете. Я застал его в сарае, где он строгал рубанком длинную доску. Я поздоровался, он не сразу повернулся ко мне.

– А ты, Андрий, не по-городскому встаешь, по-сельскому. Рано...

Усмешка его ничего не потеряла после вчерашнего. Она была такая же ироническая, такая же чуть-чуть обидная для меня – сверху вниз. И еще было в ней затаенное смущение, как будто мой хозяин постоянно помнил, что в хуторе его кличут уж слишком запросто: «Дед Гришка», самолюбиво не принимал такой простоты, но был слишком умен, чтобы протестовать открыто. И так же, как всегда, подчеркивал прямыню и жесткость дедовских плечей тот самый старый, мягкий пиджак, в котором он вчера валялся на земле, а потом спал, навалившись на стол. И так же джентльменски сухопарой выглядела вся его сухая, жилистая фигура. И так же размеренно двигался он своим ровным, широким шагом по двору, чистил коровник, носил воду овцам, и тем же широким, ровным шагом, которым он будто бы давным-давно все измерил – и работу в колхозе, и работу дома, – он ушел в свою плотницкую мастерскую. Я смотрел, как он аккуратно прикрывал за собой калитку, как шел мимо оплывшего глиняного забора, мимо такой же оплывшей, округлившейся после многочисленных подмазок собственной хаты, и мне неожиданно пришло в голову, что мой хозяин не может обижаться на «деда Гришку», потому что в хуторе полно его сверстников, от них это и идет, все они друг друга знают с самых малых лет. Хотя никто не зовет деда Степана дедом Степкой...

2

Утром я просыпаюсь рано, хотя и позже своих хозяев, застилаю кровать (когда я уйду, хозяйка перестелет ее по-своему), бегаю в трусах и майке по двору, готовлюсь к урокам, завтракаю и ухожу в школу. Идти мне далеко, и я рад этому. Особенно приятно спускаться с обрывистого склона холма к сухому, местами выбеленному солью руслу речки. Речка эта по-степному сезонная. В сущности речкой я ее еще не видел – так, узкий ручей после сильного дождя, а в сушь кое-где

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru грязь, да лужи, да купы камышей. Но, говорят, весной здесь будет много воды, настоящее наводнение. Наводнение отрежет меня и половину моих учеников от школы. Тогда у нас и будут весенние каникулы. Их в хуторе всегда приурочивают к весенней воде.

Но все же и посуху мне приятно переходить через русло речки. Что-то здесь даже в жару напоминает о большой воде: и сыростный береговой запах, и шум сухих белых камышей, и потрескавшаяся черная пленка ила – точь-в-точь, как на берегу большой реки, когда спадет вода.

К осени русло набухло. Воды еще не видно, но она явственно накапливается где-то внизу. Во всяком случае, по тропинке через русло я уже хожу в резиновых сапогах.

Я очень хорошо запомнил эту тропинку, ночью я ее чувствую подошвой. В одну из первых моих хуторских ночей я заблудился. Шел из клуба один и не мог найти дорогу в кромешной темноте. Теперь темнота мне не страшна. И вообще в хуторе я уже «свой». Некоторые мои странности – по утрам делаю физзарядку, часть дороги между школой и домом пробегаю, не прохожу, играю с ребятами в волейбол – снискали мне даже какую-то популярность. Семен, решивший, что мы с ним по дороге на конференцию хорошо поговорили, заезжает ко мне на своей машине – иногда ночью, – забирает к себе или увозит к своему другу-шоферу. И мы пьем водку и говорим о женщинах. «Ага, – говорит Семен, – я ей: «Ты учительница, а я неученый? Да? Ты работаешь, а я нет? Да я тебя какой хочешь каждую ночь вижу...»

В наш хутор корреспонденты областной газеты не заезжают. Нечего им тут делать. Хутор на отшибе, ни электричества, ни радио. Колхоз отсталый. Но и о нашем хуторе поднаторелый корреспондент мог бы сочинить победную репортаж (и материал, конечно же, нашелся бы!). Мол, сто двадцать километров от железной дороги, а и здесь ярко горит свет культуры. В каждой хате велосипед, есть мотоциклы, на пятьдесят дворов несколько человек со специальным средним образованием. А среди выходцев из хутора есть и офицеры, и научный работник, и даже один секретарь городской газеты. Я – не корреспондент, я – учитель. Каждые две недели я обхожу родителей своих учеников. Я обхожу их сам, потому что на родительское собрание мне их не удастся созвать. Они не приходят. Дважды мы уже пытались затаскать в школу отцов и матерей отстающих ребят, просили помощи и в сельсовете, и в колхозе, писали приглашения, даже заверенные в сельсовете повестки рассылали. И все равно в классе, где проходило собрание, было наполовину пусто. Какой я учитель? Наверно, еще никакой. Я еще сам учусь. Учусь видеть себя каждую минуту со стороны. Каждую минуту я отражаю в двадцати парах глаз, и в каждой паре отражаюсь по-разному. Вот внимательные круглые глаза Володи Фисенко – я счастлив, когда это ученическая внимательность. Но стоит мне потерять темп или просто честно следовать за учебником, внимательность в глазах Володи становится стерегущей. Я отвернусь – он дернет за косу старательную Катю Ищенко.

– Фисенко!

– Что, Андрей Николаевич? – В глазах Володи прозрачайшее удивление.

Мы нравимся друг другу. Иногда даже Фисенко, чтобы сделать приятное мне, начинает заниматься. Выполняет домашние задания, пишет в классе. Но надолго его не хватает. И опять день за днем приходит на уроки без тетрадок, без книги и даже без ручки.

Я уже пробовал быть и строгим, и благожелательным, и в волейбольную команду затягивал. И вдруг почувствовал, что этот мальчишка с высоты какой-то хуторской основательности, с высоты каких-то хуторских знаний о том, что такое настоящая жизнь, презирает меня за суету. Презирает бессознательно, и все-таки...

Я уже разговаривал с его матерью.

– Ваш сын, – сказал я, – может остаться на третий год.

– Эге ж, – благожелательно кивнула мне мама Фисенко, – исхай посыдить: вин еще маненький...

– Выйди из класса, Фисенко!

Охотно встает и выходит.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

На перемене директор даст мне нагоняй: Андрей Николаевич, удаление из класса – крайняя мера. «Собственно, мы к ней – значит, что? – не имеем права прибегать. Сорок пять минут Фисенко ничего не делал, но слышал объяснения нового материала...» И так далее.

Фисенко и в прошлом году не слушал объяснения нового материала, хотя в прошлом году его не выгоняли из класса. Не слушать новый материал можно и глядя в рот учителю. Мы с Фисенко это прекрасно знаем. Фисенко вообще многое знает. Он умный парень, любит читать, он даже твердо знает, что ученье свет, а неученье – тьма. Но ничего не может с собой поделаться. Иногда, правда, и я, и он сам в себе чувствует какую-то силу, которая могла бы все изменить, если этой силе чем-нибудь помочь. Может быть, я помогу Фисенко своей ненавистью к хуторской тишине, к тому непонятному обстоятельству, что вот уже лет десять колхозники в колхозе ничего не зарабатывают, к многолетней привычке не то что мириться с этим, а считать, что так оно есть, так и будет, к литературе, в которой все так просто, так замечательно... По программе у меня нет таких тем, но темы я сам себе нахожу. На каждом уроке я воюю, стоит мне только зацепиться. И тогда я вижу, как загорается большинство глаз. Но все, но большинство. Есть глаза, на которые мой энтузиазм действует усыпляюще. Куйбышевская ГЭС? Це такэ! Реактивный самолет, телевизор? Це такэ! То есть не представляющее настоящего интереса. Житейского, что ли, хуторского. Тогда я атакую скептиков, стараюсь нащупать их уязвимые места. Нет у вас энтузиазма, так, может у вас есть честолюбие, эгоизм, жадность, наконец, черт возьми!

И я рассказываю, насколько интереснее, богаче хуторской жизнь в городе, я соблазняю их городскими квартирами, кинотеатрами, асфальтом, электричеством, я говорю им о Москве – сам я в ней был только проездом: ехал в сорок пятом году из Кенигсберга на родину, ночевал на полу Курского вокзала под окошечком касс, чтобы утром первым закомпостировать билет; о великих стройках. Даже о том, сколько на свете есть сортов мороженого и конфет (мои ученики обобщают все это богатство словом «солодке» да еще «лампасия»).

Вы скажите, что это маниловщина, что я просто сманиваю сельских жителей в город, что они и так бегут в города. Бегут, да не потому, что их сманивают. Мои ребята родились в хуторе за сто двадцать километров от железной дороги, в захиревшем колхозе, ни разу в жизни дальше районного центра не выезжали – когда я даю им диктант, в котором упоминается паром или паровоз, я приношу в класс рисунки и объясняю: «Вот нос, вот корма, вот буфер, вот тендер», – но они имеют право на все, что так просто дается ребятам, которым повезло родиться в Москве или Ленинграде. И я изо всех сил добиваюсь, чтобы они почувствовали это. А если не почувствуют, какие же они будут колхозники, какой же я учитель?

После уроков я иду в учительскую и приношу туда на подошвах своих сапог очередную порцию грязи – с начала осенних дождей полы в учительской и классах покрыты толстым земляным слоем. Мы боремся с грязью. Перед порожками лежат охапки жесткого курая – его каждый день приносят те, кому до школы идти степью, – рядом с порожками врыты в землю железные скобы для очистки сапог, но все бесполезно, грязь сильнее нас. В учительской я бросаю на стол стопу тетрадей и включаю батарейный приемник. К этому времени на коротких волнах уже можно поймать джаз. Я отыскиваю в пустоватом, слабо потрескивающем эфире – в степи мало помех, нет электрических разрядов – Софию или Анкару и несколько минут сижу, отдыхая. Батареи уже не первой свежести, они то накапливают силу, и тогда музыка хорошо слышна, то садятся, и тогда музыка удаляется, удаляется, уходит куда-то к себе – в Софию или Анкару.

Потом я закуриваю и начинаю проверять тетради. Минут через пять приходит директор: он видел из окна своей хаты, как я шел через дорогу в учительскую. Директор приходит, чтобы посмотреть, включил ли я приемник. Он не выносит, когда я его включаю. И дело не только в том, что он не любит музыку. Ему неприятно, что я без спросу распоряжаюсь школьным имуществом. Директору кажется, что это непорядок: ключи от учительской всегда в его руках, его хата стоит рядом со школой, он за всем здесь смотрит, а вот я включаю приемник без его разрешения.

Он уже дважды пытался запретить мне включать приемник.

– Андрей Николаевич, – сказал он мне с месяц тому назад, – приемник в школе для того, чтобы слушать последние известия. И все. На музыку батарей нам не хватит.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Значит, что, Георгий Матвеевич, – ответил ему я («значит, что» – любимая мозоль директора, он каждую вторую фразу так начинает, и я его невольно передразниваю), – возьмите у меня деньги, закажите новые батареи.

Так состоялся у нас первый, так сказать, частный разговор на эту тему. Я скоро о нем забыл, а директор готовился его повторить...

В нашей маленькой школе всего шесть преподавателей. На каждой перемене мы сходимся в учительской – шесть, понятно, не шестьдесят. И тем не менее на собрания мы собираемся так же часто, как преподаватели четырехэтажной городской школы. У нас свято блюдется очередность педсоветов, производственных совещаний, профсоюзных собраний, комсомольских (математичка Мария и учительница начальных классов Саша – комсомолки).

Наш директор любит заседать. На каждом новом собрании вдруг обнаруживается, сколько замечаний он мог бы нам сделать «в рабочем порядке», но не сделал – копил до педсовета. Он просто обожает слово, сказанное на педсовете. Запротоколированное, оно кажется ему в тысячу раз значительнее.

На прошлом педсовете директор, как всегда, начал с долга и обязанностей учителей, и я не сразу понял, что на этот раз заряд направлен в меня.

– Значит, что, – сказал директор, – государство дает учителю сорокавосемидневный отпуск. В остальное время года мы должны работать так, чтобы у нас оставалось время только газеты просмотреть. А некоторые по три книги в неделю меняют в школьной библиотеке, да еще не ленятся в библиотеку при правлении заглянуть, да еще за книгами в Калинино сходить, а это пять километров. И вот приемник...

Когда вас всего шестеро, «некоторые» звучит чрезвычайно конспиративно! Так сказать, не называя фамилий. Но я не рассердился на директора. Я еще не мог на него сердиться. Не очень-то он умен, конечно. Мнителен. Подозревает меня – прав был рыжий Иван Антонович, – что гонюсь я за его местом. Но ведь – хорошо ли, плохо – учит в таких вот местах детей уже больше тридцати лет.

Но сегодня я уже начинаю раздражаться, когда он тенью – пожилой человек, он может двигаться очень легко – проносится за моей спиной. Подходит к шкафу – ничего ему там не надо! – что-то беспокойно перекладывает с места на место. Вот ведь изводит себя по пустякам! Такое напряженное, сосредоточенное на одной мысли, красное от непроходящего степного загара лицо, такие благородно седые волосы, а ведь съедает его мысль о включенном приемнике.

Иногда мне даже жалко директора. Заведет он на перемене разговор «по-доброму» и расскажет, как в тридцать четвертом году завхоз, с которым директор работал тогда, на ноябрьские праздники сумел выкроить из школьного бюджета пятьдесят четыре рубля и, «как сейчас помню, двадцать семь копеек». И праздничный стол учителям обошелся бесплатно. Или были у директора в двадцать седьмом году часы, испортились они у него, а починять надо было ехать в район... Двадцать восемь лет прошло, а он помнит! Не много же событий было в его жизни!..

Наконец он перестал рыться, что-то нашел. Кажется, журнал пятого класса.

– Андрей Николаевич, – голос директора подрагивает (надо бы заглушить приемник, но я и не думаю этого делать), – значит, что? Сегодня Николай Ищенко не был в школе, а у вас не проставлено «нб». Значит, что? Не ведется документация, нет учета посещаемости.

Я пожимаю плечами и прибавляю в приемнике громкости.

Дома хозяйка встречает меня жалобами на деда Гришку. Он, проклятый, вчерась где-то раздобыл денег и пришел навеселе. Не иначе кому-то что-то сплотничал. То-то она замечала, что он раньше обычного поднимался по утрам и лампу жег в сарае.

– От проклята людина! – с чувством говорит хозяйка. – Така упорна. Я думала, вин в хату, в хозяйство робить, а вин в ненасытну утробу. – Потом она меня спрашивает: – И чога це в ней мужики находят? Гирька, погана. Абы солодка була...

Почти каждый вечер к нам приходит Валентина. С нашего бугра видно, когда она выходит из дому, прогоняет белого щенка, увязывающегося за ней: замахивается хворостинкой, кидает в него легонько земляные комья и выходит на тропинку. Ходит Валентина быстро, даже стремительно. Она сухая, высокая – в деда Гришку. Кроме того, на ее походке сказывается тренировка, о которой городские спортсмены могут только мечтать. Живет Валентина в Большом Ровном, а работает в хуторе Калининском. От хутора Калининского до Большого Ровного пять километров, вот и ходит Валентина каждый день добрый десяток километров. Летом еще ничего – можно ездить на велосипеде, а вот осенью или зимой – только пешком: грязь, грязь и грязь! Свекровь у Валентины больная. Семен тоже часто хворает – у него ранена левая нога, пуля повредила сухожилие, и врачи никак не могут ему по-настоящему помочь, хотя после войны Семену уже сделали три операции. Вот и дома Валентине не приходится сидеть. О том, как Валентина успевает со всем справляться, лучше всего и говорит ее стремительная походка. Валентина беременна, у нее уже ясно обозначился живот, но медленнее она ходить не стала. От ее хаты до нашей километра полтора, а пробегает их Валентина за каких-нибудь десять минут.

Входит она в хату, садится на лавочку у стены, широко расставляет ноги, откидывается назад и вздыхает: «Устала!» Она никогда не раздевается, не снимает плаща. Даже капюшон не стягивает с головы – забежала на одну минуточку, некогда! Но сидит долго. Рассказывает матери о своих хозяйственных делах: хлеб испекла, а он не подошел как следует. Кто его знает, почему, вроде бы все правильно делала... Белый щенок загрыз утенка, уже второго. Что это за собака, которая утей давит! Обе возмущаются щенком – нет, это не собака! Ничего путного из него уже не получится, раз уж живой крови попробовал. Надо сказать Семену, чтоб завел куда-нибудь или прибил... Но все это только подход к главной теме. Главная тема – сам Семен. Валентина второго ребенка от него понесла, сама не знает, как на это решилась, и клянет себя теперь, и кается, а что делать? Они не очень стесняются меня, но все же, если я подойду, Валентина замолчит и улыбнется, извиняясь: мол, что поделаешь, приходится сплетничать.

В ноябре, перед самыми праздниками, Валентина даже уходила от Семена. Собрала в узел свои вещи, взяла дочку и пришла к нам. Три дня она жила с нами, отсюда ходила на работу, сюда же возвращалась. Семен, встретив меня в хуторе, клялся, что ему наплевать («Ага! Ученая, да? Да я на ком хочешь женюсь!»). Верхняя губа его при этом высокомерно и презрительно кривилась. На четвертый день Семен приехал к нам на своем грузовике. Сильнее, чем обычно, припадая на больную ногу, он прошел через двор, без стука открыл дверь в хату и сказал настороженно встретившей его Валентине:

– Собирайся.

Он, конечно, хотел произнести это слово по-хозяйски грубовато: мол, довольно дурить. Но у него не получилось. У него не было уверенности, что Валентина захочет пойти с ним, и потому свое «собирайся» он произнес слабым голосом, предварительно прокашлявшись. Валентина не ответила, и Семену пришлось долго стоять посреди хаты, не зная, что же она решит. Потом он ждал, пока Валентина соберет свой узел, оденет дочку. Я поздоровался с Семеном – он мне едва ответил. Потом он тащил Валентинин узел в грузовик, и мы с хозяйкой смотрели с нашего бугра, как грузовик переехал речку по хуторской гребле, как подкатил к хате Семена и как Семен опять тащил Валентинин узел.

После примирения с Семеном Валентина почти неделю не показывалась у нас, а потом опять начала ходить. И разговоры у нее с матерью прежние: проклятые мужики, дома их не видать, пьют, хвастают, а сами слабее баб. И сидят две женщины, очень разные, и клянут мужиков. И клянут они их по-разному. Тут и недоумение моей хозяйки, и ненависть, и даже смирение перед судьбой. Для Валентины, хорошей учительницы, – ее нахваливают на всех конференциях, – учившейся в городе, энергичной, сильной женщины, пьяный Семен это то, с чем она все время собирается расстаться. «Брошу его, – говорит она матери, – мне же надо учиться, чего я застряла в начальных классах?! Галина пединститут заканчивает, Маша поступила, и мне надо учительский закончить, а потом пединститут. Двадцать девять лет мне, еще года два – и поздно будет».

Иногда я верю, что Валентина бросит Семена. Однажды, уже после примирения,

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Валентина пришла после работы домой и, застав у Семена пьяную компанию, разогнала ее: «Убирайтесь, убирайтесь, чтоб ноги вашей тут не было!»

Дружки, оглядываясь на Семена, похихикивая, поеживаясь, собирали свои шапки и стеганки, а Семен, петушась, пробовал протестовать: «Да мне плевать, что ты ученая, я тебя каждую ночь какой хочу...» – «Куда тебе каждую ночь, – обрезала его Валентина, – в две недели раз собрался бы!» Семен съежился, получив такую тяжелую пощечину...

4

На ноябрьские в нашей хате гуляли. Людей было много, сидели тесно за узкими столиками, приставленными один к другому. На столиках квашеная капуста, тарелки с кислым молоком и сметаной, взвар из сушеных груш, терновый кисель. Все гости приходили со своими «пивлитрами», кое-кто приносил купленное в лавке плодово-ягодное вино. На этот раз, соблюдая приличие, дед Гришка сам ходил в соседнюю хату, приглашал к себе деда Степана. Дед пришел. Очень широкий в плечах и бедрах, почти квадратный, он мне показался состарившимся штангистом. И руки у него были, как у штангиста, – тяжелые, с широкими кистями и запястьями, и нес он их, как штангист, привыкший заботиться о своих руках, отделять их от остального тела. Его усадили напротив меня, гости потеснились, давая ему место, но когда он сел, они раздвинулись еще. Голова у деда Степана тоже была крупной, бугристой и казалась не старчески лысой, а тщательно выбритой – так молодо обтягивала его череп кожа, такой прочной она выглядела. И все-таки дед был очень стар. У него были мутные, со стаявшими зрачками глаза, он с трудом выдерживал тяжесть собственного тела – иногда вдруг съеживался, весь опадал, и голова его начинала дрожать. Он быстро захмелел, порывался показать молодым, как надо плясать, как плясали в его годы. Потом пытался учить, как надо петь – «кричать» по-местному. Он часто говорил мне: «Вот ты – учитель, а ты знаешь...» – и обращался за поддержкой к деду Гришке: так было на самом деле? Дед Гришка молча кивал и чуть улыбался. Улыбался смущенно, словно чувствовал, что рядом с отцом он мелковат, и плечи у него поуже и руки потоньше, что рядом с отцом ему не по силам обычная ироническая усмешечка.

– Вот ты – учитель, а ты знаешь, кто такой генерал Брусилов?

Дед Степан уже несколько раз задает мне этот вопрос. Наверно, старику чем-то хочется похвастать. Должно быть, генерал Брусилов его любимый конек, вон и дед Гришка понятиво кивает: мол, как же, помню генерала Брусилова. Я говорю, что знаю о брусиловском прорыве, о самом генерале, но дед Степан меня перебивает: ему нет никакого дела до того, что знаю я. Он сам хочет рассказывать. Но рассказать ему ничего не удается.

– Боевой генерал был! Генерал Брусилов! Что ты знаешь?! – кричит он. – Что ты знаешь?!

Дед Степан горячится, но ни на шаг дальше – топчется и топчется на одном месте. «Боевой генерал, настоящий генерал, что ты знаешь, я с ним вот так за руку», – и прихватывает мою руку с вилкой. На вилке кусок пилюстки – капусты, заквашенной целым кочаном. Мне неудобно держать руку на весу, но старик не замечает этого. И вообще сидеть рядом с ним неудобно. Наши колени под столом соприкасаются, я стараюсь отодвинуться, с трудом отодвигаясь, но старик тут же находит мои колени снова, и я опять чувствую, какое горячее, сухое и тяжелое у него тело. После того как его усадили напротив меня, я не могу есть – он мне не дает. Стоит мне за чем-нибудь протянуть руку, он тотчас же перехватывает ее, и я потом осторожно, чтоб не обидеть его, освобождаюсь. Неудобно и другим соседям деда Степана, он их толкает своими плохо гнущимися тяжелыми руками. Я бы отсел на другой край стола, если бы не генерал Брусилов. Все-таки, что ни говори, удивительно вот так, в такой хате, услышать о генерале Брусилове.

– Вы служили в Брусиловской армии?

– Водку с Брусиловым пил! Водку! Вот так сидел! Заседал с ним в армейском совете!

Очень интересно, но непонятно. Обращаюсь за помощью к деду Гришке, и хозяин объясняет.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Батя молодым большими делами заворачивал – как сказать? – революционером был.

– Большевиком?

– Не. – Я чувствую, деду Гришке лестно, приятно, что он может мне рассказать об отце такие вещи, и в то же время мой хозяин смущен тем, что о деде Степане можно рассказать такие вещи. – Большевиком он не был. Просто революционером. Из армии с винтовкой пришел, Советскую власть тут устанавливал. И про генерала Брусилова правду говорит. Батю в семнадцатом году в Советы выдвигали. В дивизионные, в армейские. Он молодым моторный был. – И дед Гришка усмехнулся.

Дед Степан слушал и кивал утвердительно. Я смотрел на него, и мне как-то само собой торжественно подумалось: «Вот передо мной живая история». Я задал деду Степану все вопросы, которые нужно было задать:

– Вы и коллективизацию здесь проводили?

– А як же!

– Батя первым председателем тут був, – сказал все тем же тоном дед Гришка.

– А бандиты по вас стреляли?

– Не то чтобы стреляли, – ответил за деда Степана дед Гришка, – а все ж таки что-то вроде було. Банда через хутор проходила, а батя как раз в то время в Ровное ездил и как раз должен был вертаться. Ну я и побиг его предупредить.

– Успели?

Дед Гришка усмехается:

– Успел, утекли.

– А бандиты что?

– Да тут на краю хутора одного человека убили. Совсем безвинного.

Любопытство мое растревожено до крайности, и я опять выпрашиваю деда Гришку об отце, о раскулачивании, о бандитах, о том, что делал в то время сам дед Гришка. Но к деду Гришке возвращается его обычная ироническая сдержанность, отвечает он не очень охотно. Раздражая меня, одним и тем же тоном, будто он и не сын первого комбедчика, первого председателя колхоза, которого собирались убить бандиты, говорит о бандитах, убивших человека, и о наших милиционерах, которые изловчились и убили бандитов. Слово ни бандиты, ни милиционеры одинаково не вызывают у него ни осуждения, ни симпатии.

5

Я и раньше присматривался к деду Гришке с любопытством, а теперь стал следить за ним просто с охотничьим интересом. Ведь поразительно: сын революционера – батя до сих пор газеты читает, научные брошюры выписывает, бригадирит, даже у себя на огороде что-то по науке перестраивает, дочь учительница, сын – будущий ветеринар, добрый десяток лет в доме живут учителя (среди них попадались же и хорошие, моя предшественница, например, Галина Петровна, нынешний секретарь комсомола), – а все это плывет мимо деда Гришки, или даже не плывет, а вызывает ироническую усмешку. Что же, все мы плохие агитаторы? Или всякая агитация – мура? Я, конечно, уже не наивный студент, который свято верит, что нужно лишь напрячься, написать настоящую правдивую книгу о зле – и зло исчезнет. Раньше я так и думал, теперь не думаю. И все-таки... Ведь дед Гришка не какой-то там... Человек работает с утра до ночи. Не работает лишь когда спит. Я хотел написать: «и еще когда пьян», но дед Гришка и, выпив, работает. Мне не нравится то, что он работает, но это уже совсем другое дело.

Вот, например, такая мелочь. Дед Степан давно сломал в своей хате огромную, неудобную русскую печь и сложил сравнительно небольшую печь под уголь. И многие в хуторе перешли от кизяка к углю, у моих же хозяев в сарае скопилось много тонн

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru угля – школа по закону снабжает учителей топливом, – а они все медлят, все сомневаются.

– Кто знает, – говорит хозяйка, – может, переложить?

– Твое дело, – говорит дед Гришка, – ты баба, тебе била печки.

– А у Польшиных горить? – спрашивает хозяйка (при мне уже раз тридцать спрашивает).

– У Польшиных горить, – отвечает дед Гришка, – а у Талалаевых не очень горить.

– Як це воно, – тянет задумчиво хозяйка, – каменюка и вдруг горить?

Это не вопрос. Если я начну объяснять, хозяйка рассеянно поддакнет, вежливо удивится и повторит свое: «И як це воно: каменюка, а горить?» Ей не требуется ответа, не требуется объяснений. Наверно, она в этот самый момент даже не о печке думает, не об угле – такой у нее рассеянный взгляд. Завтра она опять повторит свой вопрос, выслушает мое объяснение, рассеянно поддакнет и займется своим делом. Может быть, начинаю я подозревать, все эти раздражающие меня разговоры – некий ритуал расставания со старой печкой, может быть, просто светская беседа. О чем еще бабке беседовать с дедом Гришкой? А может, ее не устраивает мое, городского учителя, объяснение? Я говорю, а она меня просто не слушает, ждет, когда по-настоящему решит дед Гришка, который один знает, что надо сделать в этой хате, которую он сам поставил и в которой они почти со дня свадьбы живут. А дед Гришка молчит. Слушает мои объяснения со своей иронической усмешечкой и молчит. А может, и он не слушает? Вот так, не слушает – и все, как не слушал объяснения всех учителей, которые тут жили.

Я нападаю на своих хозяев, как на скептиков в своем классе. Я стараюсь расшевелить деда Гришку и хозяйку и в азарте наношу им запрещенные удары.

– Что это за потолок, – показываю я на покрашенные коричневой краской бревна, – что за окна?! В хате же из-за печки повернуться негде. Отец мой получил квартиру в новом доме, так у нас окна – я стану на подоконник – доверху головой не достану.

Потом я говорю о Куйбышевской ГЭС, о Цимлянкой, о громадных автомобилях и тягачах, о шагающих экскаваторах, о всех чудесах земли, которые я видел и которых не видел. Я соблазняю – никакого результата. Не верят, что ли? Ну хорошо, хозяйка почти никуда из хутора не выезжала, но ведь дед Гришка служил в молодости где-то под Ленинградом, видел большие города, воевал в Отечественную и вообще выезжает иногда из хутора. Почему же он так иронически улыбается, словно ничему не верит? Я растрavляю себя, спать потом не могу, а он, ничего не ответив мне, выкурит свою самокрутку, выпуская дым в поддувало, – курит он, сидя на маленькой скамеечке у печки, – и пойдет спать.

Ночью меня мучает – абстрактный гуманизм, конечно, но что поделаешь! – мысль: как же так, вот эта моя хозяйка, женщина с натруженными, всю жизнь работающими руками, и умрет, ни разу не повидав Москвы, больших городов, картинных галерей, ничего не увидит. Ведь страшная несправедливость! И тянется у меня уже совсем маниловская мечта: вот бы повезло мне с деньгами, книжку бы, что ли, написал, а ее бы издали, – взял бы я хозяйку и повез бы ее в Москву, покатал бы на метро, повел бы к университету на Ленинских горах, чтобы она задрала бы голову и ахнула, чтобы уже навсегда удивилась и никогда бы не прощала ни себе, ни тем, кто так плохо управляет колхозом. И чтоб я удивился ее удивлению и потрясся ее потрясению. Смотри, человек, что может человек!..

Утром после таких споров я прихожу в школу умиротворенным, глубоко уважающим своего директора. Не смеюсь над ним, когда он на перемене вытащит свои карманные часы и спросит:

– Андрей Николаевич, а сколько на ваших? А на ваших, Мария Федоровна? Вы знаете, я вчера чуть было не забыл завести часы. Да. Уже лег, а жена – значит, что? – спрашивает: «А ты завел часы?» Я кинулся, а там завода чуть-чуть. Представляете? Встал бы утром, а часы показывают... два часа ночи.

Такая возможность кажется ему настолько смешной и занимательной, что он еще

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru несколько раз повторяет: «Вы представляете: встаю утром, а на часах два часа ночи!» Ну что ж, я готов подхихикнуть, чтобы сделать ему приятное. Он три десятка лет тянет и тянет хуторских ребят к Москве, поддерживает между ними и тем, что делается в большом мире, постоянную связь. Я даже готов выслушать его замечания и советы и не очень морщусь, когда он идет на мой урок. Черт с ним, пусть слушает, пусть говорит – я перетерплю. И я терплю почти весь день, но где-нибудь на последней перемене вдруг на каком-нибудь пустяке взрываюсь. Взрываюсь, когда мой директор опять что-нибудь обобщит:

– Андрей Николаевич, знаете, к какому выводу я пришел? Надо все фиксировать на бумаге (это я у него попросил чертежное перо, чтобы написать плакаты). – Значит, что? Мария Федоровна в прошлую субботу красный карандаш брала и не вернула, завхоз – стиральную резинку. Нет, так невозможно. Я вас заставлю все фиксировать на бумаге. Зафиксированное всегда можно проверить. Позавчера я сказал Марии Федоровне: «Нужно использовать наглядность». А сегодня заглянул к ней в класс – ни одного чертежа, ни одной диаграммки. Приедет комиссия – я виноват. Спросят Марию Федоровну, а она заявит: «Директор мне ничего не говорил». А если все зафиксировано...

– Не нужно мне ваше перо, – говорю я. – Мне в сто раз легче в райцентр восемнадцать километров протопать, чем у вас брать перо!

Я собираю тетради, хлопаю дверью и отправляюсь на урок. Долго вытираю ноги на порожке, отрываю от подошвы прилипшие вместе с грязью пучки курая, сердито осматриваю доску – вытерта ли? Пробую пальцем тряпку – влажна ли? Кладу на стол журнал и тетради и, наконец, оглядываю класс.

– Здравствуйте!

Кто-то с комическим облегчением вздыхает;

– От вы сегодня сердиты! Аж перелякали нас!

– Никаких «перелякали» – русский язык.

Я еще стараюсь сохранить суровый вид, но уже оттаиваю. И малейшие изменения моего настроения тотчас же регистрируются классом.

В конце урока я вызываю Парахина. Я часто его вызываю, остаюсь с ним после обеда, но пока мы двигаемся вперед очень медленно.

– Пиши, – диктую я. – «Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича и есть героиня нашей повести».

– Дубровский! – небрежно роняет эрудит Пивоваров.

– Парахин, какое это предложение?

Тема сегодняшнего урока – «Сложноподчиненное предложение», и Парахин догадывается:

– Сложноподчиненное.

– Где главное?

Парахин опять догадывается:

– «Читатель, вероятно, уже догадался...»

– Правильно. Скажи, на какой вопрос отвечает подчиненное?

Теперь мы оба – и Парахин и я – напрягаемся. Я жду, надеюсь, что он наконец ясно, точно заговорит, а он...

Жилы на его лбу вздуваются, в глазах появляется выражение затравленности.

– Можно, я еще подумаю?

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Хорошо, Парахин, думай.

В классе движение, подсказки. Пивоваров пишет пальцем в воздухе ответ и смотрит на меня. «Уж я-то знаю!» Я сочувственно киваю ему – умный человек умному человеку. Он успокаивается. Но все это идет мимо Парахина. Он не собирается ловить подсказки, он думает. И за это честное, тяжелое старание, за это желание сбросить наконец тяжесть, которая мешает ему думать, я готов возиться с ним целый день и еще много дней.

– Можно, я еще раз напишу на доске?

Парахин пишет, думает, страдальчески морщится, дует на пальцы, запачканные мелом, подправляет мокрой тряпкой хвостики запятых, укорачивает их, потом опять дорисовывает мелом. Кладет тряпку. Молчит.

– Ну что же ты? – говорю я. – Задай смысловой вопрос. Ну просто вопрос по смыслу...

– Ка... – неуверенно, словно нащупывая зыбкую дорогу, начинает Парахин, вопросительно смотрит мне в глаза и заканчивает упавшим голосом: – ... кой?

Я молчу. Тогда Парахин осторожно нащупывает новый вопрос:

– Ка...кая? – Пауза. – За...чем?

Так вопрос за вопросом, и все мимо и мимо. Парахин краснеет, напряжение его достигает мыслимого предела. Я останавливаю его:

– Парахин, представь себе, сейчас вот поднимается Лигачева и спрашивает тебя. «Парахин, ты уже догадался?»

Надо видеть озаренное, счастливое лицо Парахина.

– О чем? – с облегчением и радостью говорит он.

6

С дедом Гришкой у нас что-то сдвинулось с мертвой точки. Мы не стали лучше понимать друг друга, но спорит со мной дед Гришка теперь чаще. Потому что смотрит на меня не так свысока.

В сентябре дед Гришка начал копать во дворе бассейн. (Местный бассейн – это узкий колодец, стенки и дно которого обмазываются цементом. В такой резервуар не проникает почвенная соленая вода, и из него в почву налитая вода не уходит.) Я решил ему помочь. Пришел после работы, взял лопату и тяжелую железку, похожую на ломик, – ломика я не нашел – и полез вниз копать. Копал я аккуратно, не торопясь, снял два шара, вытащил землю наверх и, довольный собой, отправился, проверять тетради. Я думал, дед Гришка обрадуется помощи, но он рассердился. Как всегда, из своей плотницкой он вернулся перед закатом, полез в колодец, выбрался оттуда и сказал мне:

– Ни, Андрий, ты мне не помогай.

– Почему? – удивился я.

Он не ответил. Лишь поздно вечером пояснил:

– Я сам. А ты мне стенку испортишь.

– Как хотите.

Я был обижен. Я твердо знал, что сделал свое дело хорошо. Во-первых, не бог весть какое это дело, во-вторых, копать-то мне не впервой, несколько лет не расставался с лопатой, натренировался. Я не подумал тогда сразу, что дед ревнует, но в тот же вечер он сам толкнул меня на эту странную мысль.

– А чем ты, Андрий, работал? – спросил он.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Лопатой, – сказал я, еще не понимая, куда он клонит, – ломиком.

– То не ломик, Андрий, – сказал дед Гришка, – то простая железка. Ломик – то другое.

Он был доволен. Он взял реванш. Все-таки я, учитель, не знал, что такое ломик. А он, дед Гришка, знал. Ломик, о котором дед Гришка знал все, восстанавливал его в его собственных глазах. Но все же что-то, какая-то перегородка, разделявшая нас, немного сдвинулась. Дед Гришка уже не мог забыть, что я умею копать почти так же хорошо, как и он. Я узнал, как можно на время купить его расположение, и теперь иногда расчетливо ошибался: путал грабарку со штыковой лопатой, стамеску с долотом. И дед Гришка смягчался. Посмеиваясь, объяснял мне, чем стамеска отличается от долота, ножовка от разводной пилы. Я слушал, умилялся и уже совсем легко переходил к другим вопросам. Например, к таким:

– А вы воевали?

– Воевал? – И дед Гришка делает обычный свой «уход». – А как же, мобилизовали меня. Був в армии, був.

Это совсем не то, что я хочу у него вытянуть. Мне хочется знать, дрался ли он с фашистами, убивал ли их, был ли патриотом, я хочу добраться до его настоящих, сильных чувств.

– На фронте вы были? – уточняю я.

Дед усмехается. Меня, умного-разумного, хитрого-хитрого, он видит насквозь.

– Да вроде.

– Как вроде? В атаку вы ходили?

Он долго молчит и вообще промолчит, если я не повторю вопроса. Если же повторю, он все равно скажет свое: «Да вроде».

Я знаю, что дед Гришка дважды ранен – последний раз тяжело, – что, следовательно, он бывал в переделках, и его нежелание рассказывать об этом я объясняю только непонятным мне полным отсутствием лихости. Единственную военную историю, которую я слышал от него, дед Гришка рассказал попутно, к случаю, за хото, и война из этой истории уж как-то сама собой выперла.

Хото – это сваренная овечья требуха, вернее, мелко порезанные тонкие кишки. Едят их, макая в тузлук – крупно покрошенный лук, политый уксусом и соусом из-под требухи. Все это острое, терпко пахнущее варево едят не от бедности. Хото – это лакомство, мясной праздник. Зарезавший овцу или барана приглашает соседей не на мясо, а именно на хото. Меня тоже пригласили, но я долго не мог побороть брезгливости, не мог привыкнуть к раздражающему аппетитному и в то же время отталкивающему запаху.

– А у вас этого не едят? – спросила хозяйка. – А чего у вас едят?

Это ее манера, спрашивать о том, что ее совсем не интересует. Попробуй ответить, что у нас едят!

– Ешьте, ешьте, – приглашала она гостей, а мне на тарелку положила кусок мяса.

И вот тут-то дед Гришка и рассказал свою фронтовую историю. О том, как он добился места ординарца при ротном командире. Командир этот, судя по всему, не пользовался уважением деда Гришки. Даже совсем не пользовался. Однажды – было это осенью сорок первого года – рота пошла в наступление. Они бежали по открытому пространству к трем сараям, за которыми засели немцы. Немцев, как потом оказалось, было немного, человек двенадцать, но у них были минометы*, и немцы убили больше половины атакующих, прежде чем те сумели добраться до первого сарая и захватить его.

Пока дед Гришка рассказывал, как он бежал, меня била нервная лихорадка.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Добежали все-таки?

– Добигли. Як побачили, шо назад дальше, чем до тих сараев, так и добигли. Старшина у нас був, ну вин и заколов одного пулеметчика, а кто еще двух, я и не заметил. Пересчитались мы у тим сараи, а нас семнадцать або восемнадцать. Винтовки та штыки, а минометы немецкие уж по сараю бьют.

– А дальше, дальше что? – Господи, как мне хотелось, чтобы дед Гришка сказал, что они, те восемнадцать, бросились на немцев и отомстили, исполненные ненависти. Но ничего такого дед Гришка не сказал.

– Лежали у тим сараи до темноты. А як луна зийшла, было приказано отойти.

И отступали, отступали, аж до самого Дона. И вот пока они отступали, пока ночевали в заброшенных землянках и ели бог знает что, дед Гришка и завоевал своего командира.

– Солдаты молоди да городски, что они знают! – сказал дед. – Ни пичь разжечь сырыми дровами, ни сапоги або валенки починить. А я и щепу нащепить могу, и вогонь развести. Вивцю пиймали. Той вивцы – худа да страшна! А заризали, командир и каже: «Выбрось требуху». Я ту требуху взяв, промыв, сварив и дав ему. «Что це?» – каже. – «Хото, – кажу, – требуха по-вашему». – «От, – каже, – не знал». – И дед Гришка засмеялся, вспомнив, какое растерянное лицо было у его командира. – Взял в ординарцы. Я и отогрелся.

– А в наступлении вы воевали? – спросил я. – Когда немцев погнали?

– Нет, – сказал дед Гришка, – ранило меня у сорок втором. Почитай под самым домом. Так что я тильки отступал. И раненый, с госпиталем, отступал, и сам, без госпиталя, отступал. Не успели нас вывезти из Пятигорска, так я сам...

Глава пятая

1

По субботам я уезжаю или ухожу, если распутица, в Ровное. Идти по грязи до райцентра не меньше четырех с половиной – пяти часов, ехать не твердой дороге – сорок минут. Если мне повезет на грузовик, в Ровное я попадаю еще до трех часов дня. Тогда я иду в комитет комсомола. Поднимаюсь на невысокие приступки, прохожу по темному коридорчику, толкаю дверь и попадаю в помещение из трех комнат. Это именно «помещение из трех комнат». Как только вы откроете дверь из коридорчика, все три комнаты вам видны. Одна, большая, – направо за перегородкой и две маленькие – прямо перед вами. Двери во всех комнатах всегда раскрыты настежь, и в какой бы комнате вы ни стояли, вам всегда видны две другие. Несмотря на свои три комнаты, помещение комитета очень тесное (потому-то здесь всегда настежь раскрыты двери), оно очень не правится тем, кто здесь сидит, но мне оно как раз своей теснотой и нравится. Я сажусь во второй маленькой комнате перед столом Галины, слушаю стук пишущей машинки, прислушиваюсь к разговору инструкторов, к тому, что из соседней комнаты кричит Галине Вера, второй секретарь, гляжу, как Галина зябко поправляет наброшенное на плечи пальто. Мне жарко – прямо за моей спиной печка, Галине холодно – прямо за ее спиной окно. Я отдыхаю... от недельной хуторской тишины. Вы думаете, можно отдыхать только от шума? Попробуйте неделю просидеть в абсолютной или почти абсолютной тишине. Когда после недельного перерыва я попадаю на улицы Ровного, на очень в общем-то тихие улицы небольшого степного райцентра, я чувствую, что во мне что-то освобождается, что-то распускается. В комнате же я просто наслаждаюсь суетой и шумом.

– Хорошо у вас, – говорю я. – Завидую.

– Вот мы весной переждем в новый дом, – говорит Галина, – тогда будет хорошо.

– Кому?

– Как кому? Всем.

– Тебе отдельный кабинетик?

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Галина смущается, поддевает плечом сползающее пальто. Плечо у нее покато, женское, а движения резкие, мужские. Она и не прочь потрепаться, но не умеет поддерживать треп. Едва заметная игривость моего тона ее сбивает. Галина некрасива, лицо у нее полное, чуть рыхловатое, нос маленький – и никаких признаков косметики, никаких женских ухищрений в одежде. Это не комсомольская, не должностная, так сказать, простота. Наверно, первый секретарь давно решила: «За такими, как я, не ухаживают...» Мне нравится ее смущать. Во-первых, что ни говори, приятно смущать первого секретаря, а во-вторых, стоит мне попасть в такое вот учреждение, как что-то само собой толкает меня.

– Я уже видел твой кабинет. Ходил по вашему рай-дворцу. Ничего не скажешь – размах! Паровое отопление! А окна! Настоящие источники света и воздуха. Двери, правда, пока не запираются и кожей не обиты. За кожей и замками остановка, да?

– Тебе не нравится дом?

– Что ты! Я в восторге! Я на каждом уроке доказываю своим ученикам, что пора наконец перебраться из саманных хат в двадцатый век, в паровое отопление. Теперь у меня будет материал для наглядной агитации. Я к тебе в кабинет буду приводить мальчишек на экскурсии. Тем более что твой кабинет в два раза больше любого из наших классов... Тебе не стыдно будет сидеть в таком кабинете?

– Чудак! – говорит Галина. – Еще никакого кабинета, а ты...

Из соседней комнаты ей кричит Вера:

– Галина, кто в Песчаное едет на перевыборное?

Болтал я, болтал, заигрывал, пытался утвердиться в глазах Галины, в обыкновенных серо-зеленых глазах, очень небольших, некрасиво окаймленных короткими, белесыми, будто подпаленными ресницами, а стоило Вере что-то крикнуть – и я мгновенно исчез из этих глаз. Приходится мне ждать, пока Галина справится с тем, что она считает серьезным. О серьезном Галина говорит хорошо. Красиво. Я слушаю ее – настоящая мужская простота и продуманность! – и прощаю ей ту легкость, с которой я вдруг выпадаю из ее глаз.

– Когда ты переедешь в новый кабинет, я перестану к тебе ходить, – говорю я, когда она опять вспоминает обо мне.

– Почему?

– Оторвешься от масс, – улыбаюсь я. – По коридорам ковры – ходи на цыпочках, грязи не носи, в кабинетах полудиваны, полукресла – садись на краешек: дома же на таких не сидишь. Вот увидишь, это самый лучший способ оторваться от масс...

Галина краснеет по-настоящему. Ее опять зовут из соседней комнаты, но теперь я не сразу исчезаю из ее глаз.

– Я уже говорила об этом начальству, – говорит она, приспособившись к моей интонации, пожимает плечами и тотчас же подхватывает пальто.

О начальстве, к которому причастна она и к которому не причастен я, она говорит неохотно. Начальство само за себя скажет. Когда сочтет нужным. И не дело подчиненных осуждать или обсуждать решения начальства. И вообще снизу нам не все видно и потому не все понятно; поэтому лучше некоторые вещи принимать без лишних рассуждений. Это или примерно это говорит мне Галина.

– А почему это у вас у всех в голосе появляется этакая элегическая, этакая возвышенная грусть, едва с вами заговоришь о начальстве?

– У кого «у вас»?

– Да у вас. – Я уже рассержен по-настоящему. Я кричу, что самое страшное не только в том, сколько людей сидело и страдало безвинно, а то, что зараза почтительной ошеломленности перед поступками любого начальства проникла в слишком многие души.

– Чего же ты хочешь?!

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Надо, чтобы каждый научился отвечать сам за себя. Не только государство – за тебя, но и ты – за государство. Чтоб лучше умереть, чем против своей совести, чем унижить свое же государство своей же слабостью. – Потом я опять нападаю на Галину: – Мне дед Гришка рассказывал (они тебе, кстати, привет передают): в прошлом году по всему району хлеб на сено косили, а можно было не косить. Трава хорошо уродилась.

– Косили тот хлеб, который и планировали зеленым косить.

– Но ведь запланировали, что трава не уродится, а она уродилась! Можно же было косить траву, а хлеб оставить на хлеб? А вы косили! А мужики ходили и плевались. И ведь хорошо, если плевались. А то ведь дед Гришка не плюется. Лучше бы он плевался! А ты попыталась доказать своему начальству, что правильное решение – это пропаганда за Советскую власть, а неправильное – это антисоветская пропаганда?

Приходит Вера. У Веры накрашены губы, пальцы измазаны чернилами.

– Опять митингуете? – говорит она.

Вера хорошенькая, только вялая. Возьмешь ее за руку – пальцы вялые. И кожа на лице у Веры такая, какая бывает у женщин, с детства панически боящихся загара – какая-то сыростно-белая. И говорит Вера «не по делу» тоже вяло. «По делу» она говорит тоном резким, командным, а как только спросишь у нее что-нибудь просто так, она словно сразу устанет. Работает она много: что-то пишет, куда-то звонит, о чем-то советуется с Галиной, но посетителей у нее почти нет. Как-то получается, что кто бы ни пришел, он идет к Галине: и просто поболтать – к Галине, и по делу – к Галине.

Вера волжанка. Окончила в Куйбышеве учительский институт и приехала по направлению сюда. Учителем она почти не работала, а было бы лучше, если бы работала. Может быть, ее тогда не нужно было бы выдвигать в райком. Сейчас Галина ее заслоняет собой, заслоняет ее крикливый командный голос. А не было бы Галины? Как бы тогда и эта командная крикливость и вялость «не по делу» выперли вперед!

Вот Пашу Шеменеву, инструктора райкома, тоже бывшую учительницу, Галина не заслоняет. Паша – уроженка моего хутора. Она по-хуторски коренастая, сильная, с жесткой короткопалой рукой. Паша никогда не повышает голоса, ей это не нужно, ей по плечу мужская должность инструктора райкома комсомола. Только глаза у Паши жестковатые, излишне жестковатые. В них ни грамма хуторской, районной ясности. И скулы на крупном Пашином лице жестковатые. Первого сентября она была у нас в школе. Я разоткровенничался с ней, рассказал про Куйбышевскую ГЭС, а потом черт дернул меня вздохнуть: «Не знаю, как буду жить здесь...» У Паши сразу же жестко обозначились скулы: «Люди же живут», – сказала она, и я понял, что те, кто здесь живет, для нее в большей степени люди, чем разные вздыхающие пришельцы. Я предпринял отвлекающий маневр, рассказал какой-то смешной анекдот, но было уже поздно – Паша даже не улыбнулась. Оскорбляется она быстро и надолго.

Паша могла бы быть вторым секретарем.

Есть в райкоме еще один инструктор, который легко мог бы быть вторым секретарем. Это единственный в комитете инструктор не женщина и не преподаватель. Зовут его Илья Крупник. Он зоотехник. Илья – легкий человек. Всячески легкий. Маленький, худощавый, быстрый. Он, как и Вера, волжанин. Из края сосен и деревянных домов. Я два года прожил в том краю и теперь с трудом переносу здешние полупустынные степи, а Илья, приехав в Ровное, быстро освоился, женился и не собирается отсюда уезжать. И не только он освоился с Ровным, но и Ровное привыкло его считать своим. Года два Илья работал в большом животноводческом совхозе под началом тяжелого человека, заслуженного директора, жесткого, самоуправного до самодурства, и, кажется, даже не замечал трудного характера своего начальника – справлялся и с начальником, и с сотнями овец и коров, за которых отвечал. Трудно сказать, как удавалось Илье справляться со своим начальником. Говорят, что директору, который называл Илью «сыном», понравилось Илюшино маленькое красивое лицо и пышная, волнистая – районный шик! – шевелюра. Но я думаю, дело не в этом. Дело в легком, не способном озлобиться и вообще видеть дурное Илюшином характере. И храбр Илья легко, без натуги. Животноводу осенью, зимой просто

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru полагается попадать в опасные передрыги. И Илья в них попадал. Рассказывали, что однажды он в буран, в пургу ушел и увел за собой двух мужчин из дорожного домика – двадцать четыре километра до Ровного, – где было собрался переждать непогоду, только потому, что у зрителя домика было мало продуктов и много детей.

Вот только в райкоме Илья чувствует себя неуютно. Стесняется. Все женщины. Один он мужчина. И зарплата низкая, а ему давно предлагают место «главного», «хозяина» в крупных районных хозяйствах. Но есть комсомольская дисциплина, и Илья не протестует. Организует в колхозах библиотечки, волейбольные команды, проводит комсомольские собрания – занимается делами, в которых меньше разбирается, чем в своем животноводстве...

– Хватит митинговать, – говорит Вера, – Рабочее время истекло. Давайте лучше подумаем, куда девать вечер.

– Кино в восемь? – говорю я. – Еще четыре часа. Давайте выпьем.

В первый раз, когда я предложил райкомовцам выпить, это было вызовом. Но, к моему удивлению, Галина тогда очень просто согласилась. Потом я понял, что она вообще не против. И понял, почему. Во-первых, где бы ты ни жил, в году у тебя триста с лишним рабочих дней, а в Ровном к этому еще прибавляется множество длинных незанятых вечеров. И провести эти незанятые вечера куда сложнее, чем рабочие дни. В такие вечера многое вспоминается. Например, то, что тебе уже не двадцать и даже не двадцать пять лет и что с каждым годом шансов на так называемое личное счастье все не прибавляется и не прибавляется, а ты сам или сама, хоть и сознательно запланировал всю свою жизнь или даже просто многие годы без личного счастья, на поверку, то есть на поверку длинными ровненскими вечерами, жить без него не можешь.

– Ну так что, – спрашиваю я, – выпьем?

Вера молчит. Она молчит с привычной усталой обидой. О том, куда деть вечер, заговорила она, а я как будто и не к ней обращаюсь со своим предложением, а к Галине. Вере это кажется несправедливым. И вообще она больше всех устает – не потому, что много работает, а потому, что много работает и это никем не замечается. Рядом с Галиной незаметно даже то, что Вера хорошенькая, а Галина нет.

– Ну что, девчата, – говорит Галина, – выпьем, что ли?

Бывает, что она отказывается. Тогда я сразу же исчезаю из ее окаймленных коротенькими ресницами глаз – у нее есть серьезное дело. Но даже если она согласится и мы все вместе просидим вечер за бутылками плодово-ягодного – в городе плодово-ягодное не пьют, в районе выпьют! – все равно, когда мы прощаемся, я исчезаю из ее глаз. Вот ведь и складно трепался, и интересно говорил, и кое в чем припер ее к стенке, и даже расстроил своими рассуждениями о культе, а все равно не утвердился. Появлюсь опять – не удивится: «Пришел? Ну как там моя школа? Валентина?» Я не влюблен в нее, нет. То есть немножко влюблен. Но по-настоящему никогда не смогу влюбиться. И не потому, что она некрасивая. Просто не смогу. Мне не хватает места в ее глазах, они все время заняты чем-то другим. Она слушает то, что я ей говорю, запоминает, удивляется, но это ее никогда не захватывает. Она не этим интересуется. Она все время занята своим делом. И когда она меня слушает, тоже ищет, что бы взять для своего дела. Я вот ругаюсь: культ, дурацкие покосы хлебов, колхозники не зарабатывают, сама Галина побаивается начальства. Она соглашается: да, так оно и есть. Но все это ее даже не колеблет, потому-то я так быстро исчезаю из ее глаз, едва кто-нибудь заговорит с ней о деле. Может быть, она чуть посуше меня. Может быть. Но главное не в этом. Главное в том, что она запряглась надолго, на всю жизнь. Она будет тянуть и тянуть вперед, а я – так она, наверно, думает – приехал сюда на год – на два, пошумел, помитинговал и смылся. Потому-то я и не задерживаюсь в ее глазах. Как не задерживаюсь и в глазах деда Гришки. Хотя уже совсем по другим причинам: Галина, говорят, не хотела уходить со школьной работы. Мне говорили, что она отказывалась, когда из райцентра приезжали к ней в Большое Ровное, не соглашалась перейти в райком. А потом, когда согласилась, всю ночь проплакала. Говорили еще, что якобы в райкоме партии от нее потребовали, чтобы она несколько лет не встречалась с ребятами, отказывала кавалеров – секретарь должен быть вне сплетен! – и потому-то у нее до сих пор никого нет. И вообще и в хуторе, и в райцентре о Галине много говорили. В хуторе, да и в райцентре, накрепко

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru запоминаются люди, хоть чем-то интересные. Жил, например, еще до войны в Большом Ровном учитель, который по замерзшей речке бегал на коньках аж до самого Ровного, так и теперь о нем вспоминают. Был какой-то чудак, который, рассердившись, вилами колол... ветер, мешавший ему сено копнить. И о ней я уже от десятка человек слышал, хоть чудак этот помер лет пять назад. О Галине мне уж рассказывал и председатель сельсовета, и завклубом, и дед Гришка, и даже мой директор, которого, как всем в хуторе известно, Галина терпеть не могла и который до сих пор не любит Галину.

Председатель сельсовета пришел к нам в школу попросить, чтобы кто-нибудь из учителей нарисовал белой краской трафаретки на бортах колхозных грузовиков. Обыкновенные трафаретки: ЧШ 45-61. Или еще какие-то. К тому времени я уже привык, что уроки, которые я даю в школе и за которые, собственно, и идет мне зарплата, лишь ничтожнейшая часть моих обязанностей. Но трафаретки на бортах грузовиков?! Я разозлился и отказался. Председатель удивился и обиделся. Главное – удивился.

– Зачем вас государство учит? – спросил он. – Вы должны свои знания на пользу приносить. – А потом сообщил: – Галина Петровна рисовала трафаретки.

Пришлось мне подтягиваться до уровня Галины Петровны, к тому же я вспомнил, что Семен и его дружки-шоферы – мои приятели. Отправился на колхозный двор и целый день мазал борта грузовиков белой краской. На следующий день краску смывали: оказывается, я не выдержал размеров букв, утвержденных автоинспекцией. Шоферы сами взялись за кисти и сделали прекрасные трафаретки.

И каждый раз мне приходилось тянуться до того уровня, который хуторяне уже отметили по Галине Петровне для хороших преподавателей.

...Возвращаюсь я из райцентра в хутор в воскресенье вечером. Днем торчу в книжном магазине в библиотеке, обедаю в чайной, смотрю в клубе на шестичасовом сеансе кинофильм и часам к восьми выхожу домой. Я не жду попутной машины. Догонит – по дороге подберет, не догонит – так или иначе я должен быть завтра на уроках.

Райцентр не город: едва выйдешь за околицу – уже темнота. Оглянешься – еще светят лампочки без абажуров на крайних уличных столбах, но это не ободряющий свет (уходишь ведь от него!), в степи не очень в него верится. И правда, оглянешься минут через пятнадцать – темным темно. И остаешься на всю степь со своей дорогой. Вернее, с куском дороги, сереющим на несколько метров вперед. Это если небо чистое. Если же облака – дороги совсем не видно, ее нужно щупать ногами, ощущать. Сделаешь несколько шагов по прямой и сдвигаешься к кювету, проверяешь, не сбился ли в сторону, в степь. Если кювет обозначен четко, успокаиваешься. Но если сглажен, если его совсем нет, долго ищешь новые ориентиры, границы невытопанной травы.

В начале осени по-над дорогой на Черные земли шли бесконечные отары овец. Овец сопровождали огромные, свирепого вида и необыкновенной бдительности собаки. Заслышав мои шаги, они с хрипом летели от ночующего лагеря к дороге и в темноте, где-то рядом со мной, сипели от избытка ненависти ко мне. Отвязавшись от собак, я всякий раз удивлялся, почему они меня не растерзали. Теперь отары уже прошли, и на все восемнадцать километров между Ровным и Большим Ровным тишина. Абсолютная тишина. С такой тишиной невозможно освоиться. Кажется, что она кому-то зачем-то нужна, что она только затаилась, что это вовсе не от совершенного покоя. И чем больше ты углубляешься в эту ватную, приглушенную низким облачным слоем тишину, тем больше в тебе самом все напрягается, деревенеют руки и плечи, мускулы шеи, а в груди, под сердцем, образуется пустота, в которую сердце время от времени обрушивается. В темноте не определишь, сколько прошел, сколько еще осталось... Подъем, спуск, подъем, спуск. Спуски и подъемы пологие, заметить их не так-то легко. Лишь на полпути спуск крутой – дорога спускается в балочку, на дне которой сейчас стоит вода. Вода потихоньку начала накапливаться здесь дней двадцать назад и теперь уже покрывает метра четыре дороги. Грузовики эти четыре метра берут с разгону, не всегда, впрочем, благополучно. Мне же в темноте приходится перебираться через балочку медленно-медленно. В пол- и даже в четверть шажка. Вода обжимает мои резиновые сапоги у самого их горла – собьешься с узкой подводной тропинки и беги скорее на берег, в сапогах полно.

Я иду сквозь кромешную темноту час, другой, теряю дорогу, опять нахожу и все

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru вслушиваюсь и вслушиваюсь. А на ум приходят истории, которые днем выглядят смешными и неправдоподобными, а сейчас легко объясняются и этой темнотой и этой тишиной. Например, история с тем самым председателем сельсовета, который заставлял меня рисовать трафаретки на бортах грузовиков. Фамилия его Натхин (распространенная в хуторе фамилия). Здоровый парень моего возраста, весь какой-то каменный. Не мускулистый («мускулистый» говорят о спортсменах), а именно каменный. Кажется, о плечо его, о спину можно ушибиться. И телом своим он как будто плохо владеет – оно у него не гибкое, не плавное. В сорок третьем году Натхину было шестнадцать лет, однако его взяли в армию. Метрика у парня куда-то затерялась, а на медкомиссии решили, что если этому здоровяку не все девятнадцать, то восемнадцать уж во всяком случае. И пошел Натхин воевать. Неплохо воевал, дошел до Вены и на Дальнем Востоке побывал, лежал в госпиталях, а когда война закончилась, решил, что даже к лучшему, что врачи на медкомиссии ошиблись: много повидал и жив остался. После войны долго служил – всё не отпускали из армии – и за границей, и у нас, и только через восемь лет вернулся домой (мог бы и не возвращаться, но тяга к селу у тех, кто любит село, так же сильна, как и тяга к городу у тех, кто любит город). С тех пор он председатель сельсовета. Три года назад женился, жену взял из Ровного, но прожил с ней не больше двух недель. Потом посадил ее, плачущую, на подводу и отвез назад, в Ровное. Мать Натхина рассказывала соседкам, что ее невестка... ведьмачила. Натхин не пошел против матери. Натхина вызвали в Ровное, в райком комсомола, стыдили, ругали – он стоял на своем: не ваше дело, жить с женой не буду. Тогда его с позором исключили из комсомола. Потребовали у Натхина комсомольский билет. А билет у него пробит пулей и полит собственной кровью. Натхин и показал его в комитете.

– Вот, – сказал он, – видите? Возьмите, кто смелый. И себя и вас убью.

Возможно, у Натхина все-таки отобрали бы комсомольский билет, если бы в комитете сгоряча не перегнули палку. Дошла до области история с политым кровью комсомольским билетом, и Натхина восстановили. Дали ему выговор, дали выговор секретарю райкома комсомола (потом его переизбрали, на его место выдвинули Галину).

Я всегда пропускаю момент, когда вхожу в хутор. Первые хуторские дома стоят далеко от дороги, в темноте их не видно. Минут пять я иду по хутору, еще не зная, что иду по хутору. И вдруг упираюсь в знакомый деревянный мостик без перил. Еще несколько шагов – и я начинаю различать хаты, подошедшие близко к дороге, звуки, шорохи, которых нет в степи, даже чуть более теплое, сонное движение воздуха. Перейдя мостик, я сразу, за все восемнадцать километров, устаю и едва волочу ноги.

Тут я вспоминаю, что опять не встретил в Ровном Зину, учительницу, свою землячку, с которой познакомился и поругался на конференции. Дома у себя в хате, прежде чем заснуть, я еще раз подумал об этом.

Вспомню я и свой разговор с Галиной, и то, как она под конец ответила на все мои атаки. То есть отвечала-то она на одну из них, но это был как раз тот ответ, которого я и добивался от нее, который мне и нужен был, хотя, может быть, она и не знала об этом.

– Ну что Сокольников?! – сказала она. – Чего ты кричишь? Ты знаешь, какая зарплата у заведующего районо? На треть меньше того, что ты получаешь. Какой квалифицированный педагог на нее пойдет? Замену ему давно ищут. Он и остается на этой должности, пока замену не найдут. Но замену-то найти нелегко.

Нелегко. Конечно, нелегко. Все нелегко. Но понятно.

2

А утром опять на уроки.

В шестом классе – литературное чтение. Урок, который люблю я и который, кажется, уже любят ребята. Среди урока стук в дверь. Дверь открывается широко, по-домашнему.

– Покличьте Пашку Лободыху! – На пороге стоит тетка с узелком.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Что вы? – спрашиваю.

– Мени Пашку Лободыху.

– Случилось что-нибудь?

Ребята затихли. Смотрят на меня. Что я скажу. Притихла и Паша Лобода. И только тетка не чувствует необычности ситуации.

– Та ни. Мени Пашку Лободыху.

– Паша, – говорю я, – выйди к маме, пусть она тебе скажет, что ей нужно, а потом ты ей объяснишь, что прерывать урок можно только по важному делу.

– Не пиду я! – вдруг вспыхивает Паша. – Нехай они подождут.

Теперь удивляется Лобода-старшая.

– Та я ж тебе поснидать принесла! – показывает она на узелок.

– Да уходите вы, мамо! – заливается краской Паша. – Нельзя на урок.

– Та шо ж тут такого! Бачь! – не может прийти в себя Лобода-старшая.

– Иди, иди, – выпроваживаю я Пашу, – и не кричи на мать, а объясни ей хорошенько.

Паша вскакивает, ракетой пролетает мимо меня.

– Ходимьте! – бросает она матери. Дверь закрывается, и все мы слышим, как Паша отчитывает мать: – Як малэ, як той...

Паше не хватает слов. Она, наверно, боится, что тут, в классе, за ее спиной, смеются сейчас и над ней, и над ее матерью. В классе действительно смеются. А я не без удовлетворения думаю, что довольно быстро научил ребят считаться со школьными правилами. Не такое это легкое дело, если учесть, что, скажем, Ивану Антоновичу оно никак не дастся. На уроке и после урока у Ивана Антоновича бывает такое оглушенно-вялое лицо, какое я подметил у людей, стоящих рядом с вибратором, который вколачивает в землю стальной шпунт. Или еще у звукооператоров радиоцентра – нас, студентов, водили туда на экскурсию. Лицо, притерпевшееся к грохоту, к потоку звуков, которые не направить, не остановить. Однажды я в учительской проверял тетради и, привлеченный шумом, заглянул в класс, на урок к Ивану Антоновичу.

Обычно дверь, раскрывшаяся во время урока, заставляет обернуться весь класс. Меня заметили не сразу. Мои милые воспитанники – это у них я классный руководитель! – швырялись бумажками, рычали. Лица у них были лихорадочного цвета, какими они бывают у мальчишек в конце большой перемены. Паша Лобода – это она недавно отчитывала мать! – была соседа растрепавшимся учебником. Ищенко – тот самый мальчик, который, побоявшись собак, не пришел на экзамен, – собирался влезть на парту. Лучше всех, конечно, был Фисенко. Он на четвереньках лазил под партами. Так на четвереньках он и прошествовал ко мне, когда я молча поманил его пальцем. У рыжего Ивана Антоновича, хотя на него никто не обращал внимания, был вид человека, загнанного в угол. Он и не пытался восстановить порядок: он честно давал урок: что-то говорил в этом шуме и даже писал на доске...

Когда я взял за шиворот поднимавшегося с четверенек Фисенко, шум в классе затих мгновенно. Не сказав ребятам ни слова, я вывел Фисенко в коридор.

– Ну? – спросил я у него.

Он ответил мне ясным взглядом, в котором была и смелость, и наглость, и еще то самое превосходство, которое так беспокоило меня и в которое я никак не мог проникнуть. Он ожидал, спокойно ожидал, что же я сделаю или скажу. Он считал, что заслужил наказание, но не собирался просить у меня прощения.

– Иди, – отпустил я его.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Я не напомнил ему, что он второгодник, что он самый старший в классе, хотя все это буквально вертелось у меня на кончике языка. Не подсказал я ему и компромиссную, этакую нейтральную формулу извинения: мол, будешь? – «Не буду!»

В общем, я хорошо знал, что не надо делать и говорить. А вот что нужно сказать такому хлопцу, который вызывает у меня и симпатию, и сильнейшее раздражение? В какие-то особые педагогические приемы я просто не верил. Жизнь слишком сложна, а на хуторе она осложнена еще и своим, хуторским, чтобы каким бы то ни было приемом с таким вот Фисенко можно было бы что-то решить. Здесь важны только личные отношения, если их, конечно, удастся наладить: мои – с ним, Ивана Антоновича – с ним, директора – с ним. А если в этой цепи постоянно возникают разрывы? Тогда и личные отношения не налаживаются, потому что они не такие уж и личные...

А приемы? Приемы часто не срабатывают самым удивительным образом. Несколько дней назад по дороге домой догоняю странную пару: женщину, нагруженную тяжелым мешком (мешок, перевязанный посередине, лежит у нее на спине и груди, в руке она еще тащит ведро отрубей), и рядом с ней здорового парня, своего семиклассника Дзюбу. «Ах, ты! – думаю. – На голову ведь выше женщины, а идешь порожняком...»

Поравнялся – мама и сынок!

– Здравствуйте, Анна Степановна. Неужто не тяжело? И мешок и ведро.

– Да я привычная, Андрий. – По-соседски она мне говорит «ты», – А два раза сходить – тяжелее.

Рассудительно, даже поучающе так говорит, как дед Гришка или моя хозяйка: где, мол, тебе, городскому, разобраться, что два раза такую дорогу с ношей пройти труднее.

– А ну давайте я вам помогу!

Смутилась, удивилась:

– Да нет! Я сама, я привычная!

– Послушайте! Не могу же я, здоровый мужик, – ведь на голову выше вас – идти рядом и не помочь! Да что же это такое?!

Она возражала, сопротивлялась. Наконец отдала мне и мешок и ведро – на, раз ты такой чудак! Шла рядом, отдыхая, – устала, видно, сильно – и все-таки чуточку презирала меня за мое чудачество. Говорили мы о погоде, о том, какая зима будет. Я сказал:

– Хорошо бы со снегом и морозами. Люблю снежную зиму.

И опростоволосился. Дзюба, который по-прежнему шел с пустыми руками, сказал уличающе:

– От вы який, Андрий Николаевич, чтобы овцы попадали?!

И пока мы выясняли, что овцам и зимой нужен подножный корм и что снежная зима – бедствие для колхоза, я дотащил мешок и ведро до своей хаты. Дзюбам – и матери, и сыну – надо было идти еще с полкилометра. Я снял мешок, поставил ведро. Жду. Анна Степановна опять прилаживается к ноше. Тогда я, наконец, взорвался:

– А ну-ка, ты, – говорю Дзюбе, – бери и мешок и ведро! живо!

Взял, но, в общем, ничего не понял. Так я для них с матерью и остался городским чудачком. Они отошли от меня метров на сто, и мать опять взяла у сына свою ношу. И еще думаю, ругали меня за то, что я пожелал колхозу снежную зиму. А может, просто посмеялись – городской, что с него возьмешь!

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Не люблю обобщений типа: «В таком-то городе прекрасно относятся к детям, там-то почитают родителей, здесь – народ хамоватый». И так далее. И все-таки я вынужден делать для себя маленькие «рабочие» обобщения. Без них мне здесь не ужиться. В хуторе, как нигде, сильны традиции: «Наши отцы были не глупее нас, а так робыли». В хуторе, как нигде, отмахиваются от общих слов. И, может быть, потому так интересно у меня проходят уроки литературного чтения, когда у меня по программе Горький, Чехов, Тургенев... Я читаю отрывки из «В людях», и в классе что-то происходит: не называются ничьи имена, но мы как будто возвращаемся к своим классным делам, к тому, как трудно учиться Парахину, к тому, что рыжий историк Иван Антонович совсем неплохой, хотя и слабый человек, что жизнь сложна и что может в ней быть и хорошее, и плохое, но все-таки она прекрасна.

4

С начала декабря я стал следить за прогнозами погоды. Будет мороз или не будет, станет дорога к январю или не станет? О дороге говорили, как о реке, которая должна замерзнуть. Как о чем-то крайне ненадежном и непостоянном. Дорога плыла под дождями, она засасывала грузовики отчаянных шоферов – ночью по заморозку прорвутся в райцентр, а потом ревут, запутавшись в глине, наматывая дорогу на буксующие покрывки. Рев этих бьющихся на дороге грузовиков, назойливый, надрывный, стал привычным осенним хуторским звуком.

Раза два принимался идти снег. Но он даже не достигал земли – сырость его съедала. Воды в земле, на низенькой мхообразной траве, в самом воздухе было так много, что, казалось, она разъедала даже резиновые сапоги. Во всяком случае, носки и портянки мои всегда отсыревали. Отсыревали пальто и шапка, и ученические тетради в моем портфеле, и одеяло, которым я накрывался, и двери в классах тоже набухли и отсырели. И настроение у всех тоже отсырело. В учительской меньше разговаривали, почти не спорили. Директор мог теперь терзать меня, как угодно – я думал только о дороге: станет – не станет. Я собирался на зимние каникулы съездить в город. Директор не хотел меня отпускать, но высшее-то образование у меня не закончено. Теперь я – заочник. Зимняя сессия.

К концу декабря мое напряжение достигло предела. На Куйбышевской ГЭС я запомнил одного зэка из бригады электросварщиков. Не знаю даже, за что сидел этот тщедушный малый, – год я на него не обращал внимания. А в тот день обратил. Парень вышел на работу со всеми, но работать не стал. По его подсчетам, это был последний день его отсидки, но где-то в старом лагере, из которого его перевели на Куйбышевскую стройку, затерялись документы на шесть месяцев зачетов. Документы запросили, ответ еще не пришел, и зэк должен был со всеми идти на работу. На него было страшно смотреть. Он метался по обогревалке, и казалось, что он, отсидевший уже пять лет, не выдержит и одного лишнего дня.

Что-то похожее творилось и со мной. Я собирался жить и работать в хуторе, я не собирался увольняться, но мне казалось, что, если дорога не станет, если я не выберусь на каникулы в город, не передохну, я не выдержу тишины и одиночества.

Двадцать шестого декабря начался большой снегопад. Снег падал густыми, мокрыми хлопьями, но и эти тяжелые хлопья таяли как будто не на земле, а в последних двадцати сантиметрах над ней. Однако постепенно снег стал побеждать. Он таял уже на земле, оседал на траве. Ночью было слышно густое шуршание – так сильно повалил снег. К утру земля сдалась. Она еще протаивала сквозь толщу белого снега серыми и черными разводами, но и эти разводы должны были скоро скрыться, если не повысится температура. Температура понизилась. Двадцать восьмого декабря после уроков, в метель, я вышел из хутора. Нет, дорога еще не стала. Напротив, она совсем исчезла. Сделалась неразличимой под снежным покровом. Как-то ориентироваться в степи можно было лишь по телеграфным столбам. Меня очень отговаривали в хуторе, советовали подождать, но я не мог ждать. До Ровного я добирался почти весь день. Я помню удивительное чувство какой-то потери зрения, которое я испытал в пути. Свалился в овраг – не увидел, что передо мной обрыв, настолько единообразный пушисто-белый цвет был вокруг. Барахтаясь на дне оврага, я не понимал, куда мне нужно лезть. В абсолютной белизне исчезли верх, низ, право и лево. Оказывается, для того чтобы видеть, нужно, чтобы предметы были разного цвета или хотя бы различались оттенками. А если кругом такая абсолютная белизна – глазу не за что зацепиться. Кое-как я все-таки выбрался из оврага, но, ставя ногу в снег, не мог поручиться, что не ставлю ее опять в пустоту.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Из Ровного я выехал утром следующего дня на грузовике, который шел за трактором. В кузове грузовика нас было человек двадцать, и всех нас, когда трактор свернул к ближайшему совхозу, едва хватало на то, чтобы вытаскивать грузовик из снежных ям. Почти трое суток мы пробивались через метель. Тридцать первого декабря, намерзшийся, напуганный и – странное дело! – радостно потрясенный грандиозностью земли, силой метели, уже смирившийся с тем, что Новый год придется встречать в поезде, отогревшийся в столовой и все-таки тянувшийся к теплу, я вошел в маленькую парикмахерскую на станции Зимино. Когда подошла моя очередь, я уселся на стул поближе к маленькой железной печке и попросил парикмахера:

– Снимите побольше.

– Давненько не стриглись! – сказал парикмахер. – Из глубинки?

– Ровненский район знаете? – сказал я, предвкушая возглас удивления парикмахера. – Сегодня оттуда.

– Ну! – обрадовал меня парикмахер.

И он стал философствовать на тему о том, какие трудные и романтические профессии бывают на свете. У него есть клиент, который каждую зиму привозит в Зимино годовой отчет на тракторе. Ни на чем другом не привезешь. Профессия этого клиента – совхозный бухгалтер. Я слушал парикмахера, видел в зеркало, как он осторожно, словно глядя меня по голове, забирает в пальцы мои волосы, и чувствовал, что я счастлив. Можете не верить мне, но я думал тогда: хорошо все-таки, что меня выгнали из института. Скольких бы я вещей не увидел и не узнал, попади я благополучно в аспирантуру! Не побывал бы я на Куйбышевской ГЭС, не работал бы в маленьком хуторе, где людям еще ой как далеко до сладкой жизни, а может быть, вымахал бы в самодовольного, самоуверенного идиота, круглого, гладкого и неуязвимого (как я сейчас презирал таких идиотов!). И еще многого я бы тогда не понял и не ощутил. Не понял бы, как можно вот так слушать болтовню парикмахера, греться жаром маленькой раскаленной печурки и испытывать счастье оттого, что мне тепло, что я не отступил перед метелью, что я работаю там, где и должен работать настоящий интеллигент, – там, где людям труднее всего, – и что мысли ко мне сейчас приходят важные, чистые, мысли-вершины, мысли-открытия без суеты и мелочности. Конечно, и до меня такие мысли кому-то приходили в голову. Наверняка приходили. Ну пусть я в очереди таких открывателей занимаю миллионное или даже стомиллионное место, что значили бы для меня эти мысли без моего собственного открытия? Что они значили бы для меня, если бы их не подготовило то, что их подготовило?

Я знаю теперь, как долго готовятся такие открытия, сколь многому нужно накопиться, чтобы они появились. Так было со мной и на Куйбышевской ГЭС, когда я «открыл», что в мире идет борьба, и что я – участник этой борьбы, и что эта борьба не только где-то там, а вот она, здесь, рядом, и во мне самом.

Случилось это так. Я целый месяц работал в ночной смене, устал, к тому же страшно поругался со своим старшим прорабом. Устал еще и потому, что никак не мог представить себе своего будущего: работаю на стройке, хорошо работаю, а дальше что? Терзался еще десятком таких же вопросов. В общем, это был один из тех дней (вернее, ночей), в которые все сходится, и своя и чужая усталость, и свое и чужое несчастье, и какое-то невезение, и краны ломаются чаще, чем обычно. Я едва дождался конца смены, вышел за проходную, ткнулся в столовую – в довершение всего столовая заперта: ночью испортился водопровод, и завтрак будет готов лишь через сорок минут. Идти домой, ложиться спать голодным? Я решил подождать. Поднялся на бугор, вошел в лес и побрел по снегу вдоль опушки. Нашел толстый пенек, смахнул с него снег. Место мне показалось заброшенным. Я сел и вяло подумал: какая может быть в лесу заброшенность! В лесу ничего не может быть заброшенным или незаброшенным. Лес – это лес... И вдруг услышал вздох. Это был необычный – странственный вздох, так могли вздохнуть лес или гора. Я посмотрел на рабочий участок – сверху он был мне весь виден: склад заиндевевших арматурных стержней, порталы и козловые краны, длинный барак заводоуправления, наша прорабка. В зоне было тихо и безлюдно. Я прислушался и понял: подключились мощные репродукторы на высоких осветительных мачтах. Это они вздохнули. Шесть часов утра. Где-то в Москве, на Кремлевской площади, которую я еще ни разу не видел, пробили куранты. Потом грянул гимн. Сколько раз за свою жизнь я его слышал? Сто тысяч раз? Может, больше, может, меньше – какое это имело значение?

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

И вдруг какая-то сотни раз слышанная строчка задела меня...

...Мы в битвах решаем...

Никого не было на огромном строительном участке, утренним инеем припорошило стрелку замершего порталного крана, тишина. И над этой тишиной, над поржавевшими за ночь железнодорожными и крановыми рельсами, над устало замершими огромными машинами рождались слова, которых я раньше никогда не слышал. Это были слова-открытия, слова-вершины. Сколькому нужно было сойтись в одну ночь, сколькому нужно было накопиться до этой ночи, чтобы я так услышал то, что вложено в эти слова, чтобы я и к себе отнес и это мы, и это в битвах решаем... Я заплакал. Меня никто не видел, и я мог плакать, сколько хотел. Ну да, в битвах, ну конечно же мы, то есть и я тоже, и все другие вон на той гигантской строительной площадке и в других местах, решаем судьбу поколений. И разве я не этого хотел, разве не к этому себя готовил, не об этом мечтал? Моя мечта давно исполнилась, так почему же я этого так долго не понимал? Может быть, потому, что многие книги рисовали мне совсем другую битву, которая будто бы и не была битвой?

А мне ведь и не надо, чтобы битва была получше да покрасивее. Совсем не надо. Мне совсем немного нужно – чтобы глаза мои всегда были открыты. Без этого я не могу...

Из парикмахерской я вышел счастливым, счастливым бродил по Зимино. Я чувствовал себя фронтовиком, получившим с передовой отпуск на несколько суток. Может, это высокопарно сказано, но так и было – я чувствовал себя фронтовиком, приехавшим в тыл. С тем же радостным чувством я сел в пахнущий карболкой вагон, забрался на третью полку и приготовился без раздражения перенести все остановки, которые этот медлительный поезд делает по дороге к моему городу. И в городе радостное чувство не оставляло меня. Мой город, в который я так стремился, меня не обманул. Здесь были близкие моему сердцу грохот и шум, здесь были умные друзья, умные застольные беседы, интересные сплетни, едкие анекдоты. Я слушал сплетни и запоминал анекдоты, и тоже что-то рассказывал из своих дорожных приключений. Ложился спать я поздно, с удовольствием ворочался на шуршащих крахмальных простынях, слушал, как успокаивающе тонко поет паровое отопление, как подрагивают стекла, отзываясь на шум проезжающих по нашей улице поздних автобусов. Но что бы я ни делал: болтал ли с друзьями, шел ли по шумной главной улице, просыпался ли дома среди ночи от тихого света уличных фонарей, – я ни на минуту не забывал, что я фронтовик. Мой город – большой город. Здесь бьется прибой новостей, отсюда хутор, в котором я работаю, моя школа казались крохотной точкой. Непонятно даже, как я там, в этой крохотной точке, мог из-за чего-то спорить с директором, раздражаться. И все-таки именно эта крохотная точка давала мне удивительное самоуважение, удивительное чувство превосходства, когда я смеялся, слушая забавные сплетни или новый анекдот. Я знал что-то очень важное, чего не знали мои собеседники. Это важное было сродни смыслу жизни.

Потом я стал стыдиться своего благополучия, своих крахмальных простынь. Мне было стыдно перед моими коллегами: учительницей начальных классов Сашей, математичкой Машей и даже перед директором. Все эти дни они, конечно, невылазно сидят в своих хатах – хуторской клуб не отапливается, кинопередвижка не приезжает с первых дней распутицы, в школе делать нечего. Я стал собираться, ходил по магазинам, покупал книги для школьной библиотеки и вдруг решил: позвонил двум писателям – их книги я любил в детстве – и попросил сделать надписи на книжках для Парахина и Фисенко. Готовил я подарки и Алинке, внучке деда Гришки, хозяйке, самому деду Гришке. Мне хотелось похвастаться перед ними своим городом.

Глава шестая

1

И опять я ехал в Зимино. Но теперь надо мной ничего не висело. Люди, которых забрали в пятьдесят третьем году, возвращались домой. Директора института, который выгнал меня и еще кое с кем тогда под шумок расправился, уволили. И еще двух-трех ему подобных сняли и понизили в должности. Не все, конечно, верили, что завтра эти люди не вернутся на свои места, но дышалось все же легче.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
В Зимино я переночевал на вокзале и рано утром вышел на околицу ловить машину на Ровное.

Ветра не было. То есть не то чтобы совсем не было. Степь совсем без ветра – не степь. Но это было вполне терпимое движение воздуха. Ветер начнется позже, а сейчас охлажденный над сугробами и застругами воздух медленно движется на поселок, где на улицах чуть теплее, чем в открытой степи. Взошло солнце и мутно обозначилось сквозь примерзшие к нему облака. Свет от солнца и облаков шел тусклый, но, казалось, он и должен быть таким над этим тускловатым светящимся снежно-ледяным полем, дышавшим прозрачным ледяным воздухом.

Не мне одному нужна была машина. В степи, там, где главная шоссейная дорога принимает в себя все боковые выходы из Зимино, уже собралось несколько человек с чемоданами и узлами. Они так далеко выбрались в степь, чтобы не пропустить ни одного грузовика, даже если он пойдет на Зимино не по главной дороге. Я пошел к ним. Их было пятеро. Четыре женщины и старик.

– В Ровное? – спросил я старика.

– В Ровное, – ответил он.

– Давно ждете?

– Вчера еще ждали. Нет машин.

– Сегодня будут, – сказал я.

– А вы откуда знаете? – строго спросила меня маленькая женщина, до бровей закутанная в белый пуховой платок.

Это была Зина. Та самая учительница, с которой я поругался на летней конференции.

– Верю, – сказал я. – Понимаете, сегодня я во все верю.

Я следил за ее лицом: когда она меня узнает? Она нахмурилась, а потом улыбнулась. Узнала.

Грузовик подошел часам к десяти. Шофер выглянул из кабины, с сомнением осмотрел нас:

– Я возьму. Да ведь замерзнете. Кузов открытый. Подождите, может, крытая подойдет.

– Мы уже замерзли, – сказал я. – Так что не страшно.

В кузове мы уселись спиной к кабинке, подняли воротники и приготовились терпеливо ждать. Ехать по плохой дороге, не глядя вперед, отвратительно. Перед выбоиной не напряжешься, на ровном месте не расслабишься. Мотает тебя так, что подбородок стучается о колени. А поворачиваться лицом к ледяному ветру невыносимо. Вот и трясешься: терпение, терпение и терпение. Терпение в чистом виде. Гудит ветер, грохочет грузовик, мороз все невыносимее, а тебе ничего не сделать. Только терпеть.

Зина сидит неподвижно, тонкие невидимые усики у нее обозначились инеем. И все сейчас неподвижно. Даже глаза у всех неподвижны. Ноги у меня затекли, кисти в варежках собраны в кулак – так теплее. Кажется, я немного закрываю Зину от ветра. Я выдвигаюсь еще вперед.

– Холодно? – кричу я. Она бледно улыбается, но не шевелится. – Ноги? – Она чуть кивает. Я накрываю полую своего пальто ее валенки. – Так лучше? – Она чуть кивает. Кой черт лучше! Конечно же, все равно холодно. – А помните, – кричу я, – мы с вами на конференции поругались. Тогда вы мне показались злее и бодрее. – Она улыбается. – Вы, наверное, не читали, что писал Маркс о морозе? «Даже страдание, по-человечески понимаемое, есть самонаслаждение человека». Забыл только, где он это сказал. – Говорить мне больно. Кожа на губах вот-вот потрескается. Но я продолжаю трепаться. Меня несет: – А вы хотели бы стать полярницей? – Она едва в состоянии отрицательно качнуть головой. – А я бы хотел.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
По крайней мере обо мне каждый бы день писали: на дрейфующей станции Северный полюс-четыре скорость ветра такая-то, мороз тридцать градусов...

Несколько раз за дорогу мое терпение приходило к концу. Полностью исчерпывалось. Но потом оказывалось, что кое-какие ресурсы все-таки оставались. Когда грузовик добрался до Ровного и подкатил к большому магазину на площади – к обычной стоянке всех заезжих машин, – я даже попытался молодецки спрыгнуть на землю, за что и был жесточайше наказан. Ноги мои не спружинили. Они не были в состоянии пружинить. Боль от удара отдалась в голове. Женщины в кузове еще помедлили, как будто они и вправду замерзли насмерть, потом медленно зашевелились. Я протянул руки, чтобы помочь Зине спуститься. Она позволила мне подхватить себя, позволила затащить в магазин. На деревянном полу магазина не таял затоптанный грязный снег. Наверно, здесь было очень холодно. Продавщицы работали в теплых пальто и валенках.

– Погреемся? – спросил я. – Или вы сразу домой?

– Домой.

Я подхватил ее чемодан и двинулся за ней. Она очень спешила, ноги, не привычные к валенкам, не повиновались ей. Только один раз она обернулась ко мне:

– Больше всего на свете боюсь холода.

– Чего же вы ездили по такой погоде в город?

Она ответила серьезно:

– Обещала своим спортсменам новые программы по гимнастике. И литературу...

Я встряхнул чемодан:

– Здесь?

Она кивнула.

Валенки делали ее трогательно маленькой и неуклюжей, из-под платка страдальчески смотрели светло-коричневые глаза, губы и нос некрасиво посинели.

– А знаете, на конференции вы мне показались высоченной и неприступной. Я даже напугался тогда.

– Я была на высоких каблуках... А сейчас я вам кажусь жалкой?

Я возликовал: она беспокоится о том, какой она мне кажется!

Она снимала квартиру в хате недалеко от центра.

– Заходите, – позвала она. – У хозяйки на печке всегда горячий чайник.

Но я отказался. Нужно было добираться до хутора. А главное, мне было так радостно, что я уже боялся за свою радость. Сегодня мне уже ни больше, ни меньше не надо. Мне даже хотелось поскорее распрощаться с Зиной.

– Приглашайте меня к себе на следующую субботу, – сказал я.

– По такому морозу?

– Приглашайте!

Она улыбнулась, взяла у меня свой чемодан:

– Вы же не придете. Приедете к себе, отогреетесь, вспомните про мороз и испугаетесь. Приезжайте весной.

– Я приду в субботу. Раньше не смогу, а в субботу обязательно приду.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
2

В тот день мне необыкновенно везло. Я боялся, что добираться в хутор придется пешком, но когда вернулся на площадь, увидел у магазина грузовик, в кузове которого стояло несколько наших хуторских ребят. Они мне крикнули:

– Андрей Николаевич!

Завклубом Митя – Митей он сам себя назвал, отец-баптист дал ему при рождении имя Соломон – постучал в крышку кабинки, шофер, тронувший было, затормозил, меня втянули в кузов. Я жал чьи-то руки, смеялся благодарно и смущенно – не знал по именам всех, кто кричал мне: «Андрей Николаевич!» – и уже не отворачивался от ветра. Подумаешь, восемнадцать километров!

В кузове за другими я не сразу увидел Парахина. А когда увидел, обрадовался и не сразу понял: то ли он уже со мной поздоровался и ожидает, когда я ему отвечу, то ли ждет, чтобы я поздоровался, чтобы ответить мне. Такое у него было лицо.

– Здравствуй, Парахин! – крикнул я. Он медленно так, «по-парахински» улыбнулся мне. – Я тебе привез подарок! – Улыбнулся еще шире. – От писателя!

Фисенко бы уже сказал покровительственно: «Ото вы любите шутковать, Андрий Николаевич!», а Парахин молчит и только смущенно улыбается.

– Ладно, – говорю я, – потом покажу.

Я вообще-то собирался выбрать подходящий момент, чтобы вручить Парахину книгу с дарственной надписью известного писателя. Но вот увидел Парахина, обрадовался и все выложил...

Во дворе нашей хаты меня первой встретила Дамка. Она промчалась ко мне через весь двор, и кольцо цепи, которое скользило по проволоке, поднимало фонтанчики инея. Морда у Дамки заиндевела, на белых бровях и усах – тонкие сосульки. Дамка натянула цепь и прилегла мордой на передние лапы, хвост ее выжидающе колебался. Я шагнул к ней, она прыгнула, стараясь дотянуться носом до моего подбородка. Это был ее коронный номер.

В хате почти вся семья в сборе. Я смог сразу выложить все свои подарки. Деду Гришке – бутылку коньяку, сигары «Гавана», папиросы «Три богатыря»; Алинке, Валентиновой дочери, – она живет у нас больше, чем у матери, – ученический портфель.

Алинку я подхватил на руки, подкинул, насколько позволял низкий потолок:

– Выросла девочка, тяжелая стала!

Алинка показала мне язык. Я засмеялся и дал ей шоколадку. И вообще суетился, рассказывал, как мне повезло с грузовиком, как я обрадовался, увидев хутор: «Гляжу, ветряная мельница, ну, думаю, дома!»

Хозяйка задумчиво посмотрела на меня.

– Андрий, вот було б мне положить тебе в дорогу хлебца, яичко сварить. А вот не догадалась.

Алинка сказала мне:

– Мы сегодня с девочками на санках катались. Аж жарко было.

Хозяйка вздохнула:

– Ой, Алина, Алина! Як же ты разжарилась.

Я засмеялся:

– Здоровее будет!

Хозяйка опять вздохнула:

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– И как же ей не обрыднет, и никола дома не посидит, – и тут же, правда, без особого энтузиазма, выдвинула свою положительную программу: – Посидела бы в хате, погрелась бы на лежаночке.

В городе я говорил с одним литератором о скудости литературы и о многообразии жизни. Рассказал ему о своих хозяевах: отец хозяина, дед Степан, устанавливал в хуторе Советскую власть, был комбедчиком, первым председателем колхоза. Он до сих пор читает газеты, мне раз десять доказывал, что теперь крестьянину не в пример легче: «Раньше как налог брали? С огудины, с корня, с несущки! Сады ж рубили! А теперь есть приусадебная земля – покажи, что ты культурный хозяин!» Дети хозяина – люди со средним образованием, а сам хозяин словно и не связующее звено этих поколений, все еще только присматривается ко всему.

Литератор мне сказал: «Возможно, женился на женщине старозаветных взглядов. Она и удержала его на своих позициях».

Сейчас я присматриваюсь к хозяйке – есть у нее позиции? Вот у деда Гришки она есть. Взял «гавану», повертел в руках, зажег, с усилием втянул в себя дым, приняхался, вытер слезы, еще раз втянул дым и положил сигару на край стола. Потом аккуратно выдал пальцами огонь на земляной пол.

– Ни, Андрий, – сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. – Я лучше своего табачку.

– Так ведь считается, что это лучший табак! – огорчился я. Но настаивать не стал. То, что считают другие, на деда нисколько не действует. Это я знал. Дед начисто лишен способности верить во что-то, что не его собственный опыт. Вот я бы поверил, если бы даже мне сигара не понравилась.

Так дед больше и не притронулся к сигарам. Посидев с хозяевами еще минут десять, я побежал в школу. Там меня уже ждали. В учительской я застал Сашу, Марию и директора.

Саше девятнадцать лет. В глазах у нее всегда такое выражение, как будто она торопит нас. «Ну скажите что-нибудь смешное, а я засмеюсь». И она засмеется, даже если вы ничего смешного не скажете. Саша хорошо сложена, грудь у нее высокая, ноги длинные, парни на нее заглядываются, и живется ей весело и смешно. Когда она что-то рассказывает Маше, чаще всего слышно: «Вот мы смеялись!»

Знакомство наше тоже началось с этой фразы. Сашу первого сентября вызвали в правление колхоза, к телефону, ей из Харькова звонил старший брат. Саша бежала в правление, бежала из правления. Ворвалась в учительскую возбужденная, рот полуоткрыт, глаза изумленные и объявила:

– Вот мы смеялись!

– Что такое?

– Да брат звонит! «Кто это?» – спрашивает. А я говорю: «Я!» – «Кто «я»?» – «Да я!» – «Кто «я»?» – «Да я!» Вот мы смеялись!

Она всплеснула руками, приглашая посмеяться и нас. И мы смеялись. Директор, правда, воздержался, а мы с Машей засмеялись.

Мы с Машей ровесники. Нам нравится Сашина молодость, Сашина радость, просто оттого, что она впервые в жизни сама уехала из дому, что ей впервые в жизни позвонили по междугородному телефону. И вообще нам нравится ее характер, ясный и понятный даже в тех случаях, когда Саша хитрит. Впрочем, разве это хитрость?

– Мы с Машей сидим на твоём открытом уроке, – сообщает мне Саша, – а я ей говорю: «Хороший урок. Дир будет к Андрею придираться, а мы давай защищать. Все равно дир и нас с тобой топнет!» – Или вдруг рассказывает мне с возмущением (хотела Маше рассказать – Маши нет, а возмущения не удержать): – Была у девчат в Ровном, а мне говорят: «У вас новый учитель работает?» А я им: «Андрей Николаевич? Ничего особенного. И старый он. Ему скоро тридцать лет. Подумаешь, Андрей Николаевич!»

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Маша мне такого разговора не передаст. Маше нужно выйти замуж. Ничего плохого этим я о Маше не хочу сказать. Никому она не вешается на шею, никому не пытается окрутить. Просто ей уже двадцать восемь, а я единственный в хуторе подходящий для нее холостяк. Есть еще неженатый председатель сельсовета, тот самый, который развелся три года назад, и он даже ухаживает за ней, но Маша его побаивается.

Маша красива, очень аккуратна. Она невысокая, плотная, неутомимая, легко проходит десять-пятнадцать километров – мы с ней по воскресеньям обходим родителей наших учеников. Легко зажигается, может полдня играть со мной в волейбол. Она тщательно следит за собой (наверно, с каждым годом все тщательнее), кожа на лице у нее гладкая, белая, более гладкая и белая, чем у Саши. У Саши можно насчитать на лбу несколько тонких морщинок, а у Маши – ни одной. Все они уничтожены настойчивым массажем, затерты белым кремом. В общем, Маша мне нравится, но я не женюсь на ней. Она знает об этом, и все же в наших отношениях есть что-то натянутое. Маша обижается, когда я по субботам ухожу в райцентр, и сегодня она меня встретила сухо: «Ездил в город? Развлекся? А мы тут невылазно сидим». Губы Маша накарсила гуще, чем надо, брови подвела черным, и смеется она слишком громко.

И не виноват я перед ней ни в чем и вроде виноват.

– Здравствуйте! – сказал я.

– Здравствуй! – ядовито ответила Маша.

– А Маша, как увидела тебя, – сказала Саша, – говорит: «Вот наш горожанин Андрюшенька идет». – Она захохотала, оглядываясь на Машу, на директора, и повторила: – «Вот наш горожанин Андрюшенька идет!»

Я засмеялся, а Маша вызывающе откинулась на спинку дивана и скрестила руки на груди:

– Ну как, Андрей Николаевич, экзамены сдали?

Наверно, она не в первый раз говорила об экзаменах, которые я сдавал, потому что тотчас повернулась к Саше, и они обе захохотали.

– Сдал экзамены, Маша, – сказал я.

– Значит, сдал экзамен?

– Сдал.

– Что нового в области? – спросил меня директор. Мы разлили по стаканам и чашкам вино, которое я привез, и я стал рассказывать о том, что в городе говорят о культуре, о реабилитированных, которые возвращаются домой. Но директор поскущел – он был за то, чтобы обойти эту тему.

Потом мы немного захмелели и все-таки вернулись к культуре. Директор намекнул, что и он когда-то пострадал, но сразу же постарался даже этот туманный намек запутать так, чтобы я ничего не понял. И все с тревогой посматривал – догадываюсь ли я о том, чего он мне не сказал, или не догадываюсь.

Но, в общем, мы были рады друг другу: и директор, и Саша, и Мария, и я.

Поздно вечером я провожал Сашу и Марию. Саша прощалась первой, она нам погрозила:

– Смотрите! Завтра на работу не опоздайте! А то будете экзамены сдавать.

И захохотала. Даже в темноте было видно, какие у Саши шальные глаза.

Как только мы остались одни, Маша высвободила руку.

– До свидания, Андрей Николаевич! Собак я не боюсь. Я сама дальше пойду.

– Я сам собак боюсь, – примирительно сказал я и опять взял ее за руку.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Она слабо рванулась и затихла. Ну да, я немного переигрывал. В конце концов, мне было приятно, что я ей нравлюсь. А кому бы это было неприятно? Я твердо знал, что здесь не любовь, просто Маша рассчитывала на меня. Она много лет работает в глуши, в маленьких хуторских школах, где всего пять-шесть преподавателей, где не так уж часто попадаются подходящие по возрасту и по внешности холостяки, и она рассчитывала на меня. И в хуторе ей с хуторской непосредственностью говорили про меня: «Вот вам, Мария Федоровна, пара».

У Машиной хаты мы остановились. Маша выжидательно посмотрела на меня.

– А я тебя ждала, – сказала она. Не грустно, не любовно сказала, а с вызовом.

– И я тоже, Маша. Честное слово, по хутору соскучился.

– В городе женщины лучше? – не слушая меня, продолжала она с тем же вызовом. – Модные? На высоких каблуках? Не то что деревенские?

– При чем тут...

– А в субботу опять в райцентр пойдешь?

– Пойду, Маша.

– К своей Галине Петровне?

– И к ней тоже зайду.

– Зачем?

– Ну, вообще, поговорить.

– До свидания, Андрей Николаевич!

– До свидания, Маша.

Я еще задержал ее руку, и она не вырывалась, подождала, пока я сам отпущу... Нет, Маша не тряпка. Попадись я ей, она бы научила меня свободе любить. Просто ей кажется, что уходят как раз те годы, которые не вернешь.

Дома, я открыл дверь и услышал крик Алинки. Девочка кричала так, будто обожглась или обварилась. Дед Гришка носил ее на руках, у него было оглушенно-страдальческое лицо.

– Годи, годи, – бормотал он.

Такое же оглушенно-страдальческое лицо было и у хозяйки.

– Животик заболел? – спросил я, чувствуя, что и у меня лицо становится оглушенно-страдальческим. Никто мне не ответил. – За фельдшером сбегать? – спросил я с некоторым беспокойством: мне показалось, что дед и хозяйка рассматривают меня враждебно.

– Побрызгай, Андрий, – сказал мне дед, показывая глазами на кружку с водой, которая, доверху налитая, стояла на столе. Я не понял. – Побрызгай, – настойчиво повторил он. – Набери в рот воды и побрызгай. Ничего. Ты ее сглазил. Бывает. Приехал, сказал: «От как выросла!» Бывает, что и ридна мать сглазит. Не только дурной человек. Ничего, побрызгай.

– Да что вы, Григорий Степанович! – сказал я, но под его настойчивым взглядом потянулся к кружке. Я не мог спорить. Алинка так кричала, что спорить было невозможно. Я набрал в рот воды и побрызгал.

– Еще, – сказал дед. Я еще побрызгал. – Годи.

Я пожал плечами, поставил кружку и ушел в свою комнату.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Зима была долгой, ветреной и снежной. Ребятам, которые ходили в нашу школу из хутора Калининского, колхоз выделил сани и лошадь. Однако и в январе, и в феврале, и в марте выпадали такие метельные дни, когда заниматься в школе было не с кем. Добирались до школы сквозь пургу только мы, учителя. Посидим в учительской в шубах – на подоконнике учительской то ли иней, то ли горка снега, который тончайшей пылью под напором ветра проникает сквозь все щелочки, – поговорим о нашем рыжем Иване Антоновиче, который неплохо держался всю осень, а зимой вдруг запил, и разойдемся до лучшей погоды.

Выходить на улицу в такую метель страшновато. Городское пальто не держит ветра, холод сразу же пронизывает до костей, а главное – за пять метров вперед ничего не видно, сплошная белая мука. Тут надо смотреть в оба, чтобы не заблудиться. В феврале проезжий шофер, застигнутый метелью в нашем хуторе, остановился переночевать в одной из крайних хат, ночью вышел искать уборную и заблудился. Всю ночь, бедняга, ходил по кругу и лишь утром уперся в сарай рядом с хатой.

Дома, в хате, хоть и топлено, но холодно. Сквозь окна проникает белый, без блеска, свет. Удивительно чистый и легкий снег. Он направлен не сверху, а снизу, так что ровно освещен весь потолок и стены. В самые яркие летние дни хата никогда не была так освещена, так наполнена светом. А ведь солнце за эти месяцы почти ни разу не выглянуло.

В хате сижу в пальто, сплю, накрывшись поверх одеяла пальто. Теперь-то я понимаю, почему стены хуторских хат так толсты, а печь в хате занимает так много места! Попробуй-ка, удержи тепло под напором степной «штурмы»!

Самый долгий буран бушевал в первых числах февраля. В первый день бурана я еще ходил в школу, а на второй не пошел – бесполезно. Выглянул из хаты, а соседнего дома не видно. Лишь иногда между двумя порывами ветра сквозь белесую мглу проглянет крыша, по которой, вопреки законам тяготения, снег берет разгон снизу вверх, и взлетает фонтаном, и пенится где-то у самой трубы. Впрочем, снег – не точно сказано. Снег – снежинки. Здесь же снежинок нет, сплошная снежная масса, залепляющая лицо и шею, проникающая под рукава. И вот что интересно: масса эта как будто мягкая, рыхлая, легко тающая, проведи ладонью по лицу – будто умоешься, а сугробы, которые она намечает, каменно тверды. Каждое утро мы с дедом Гришкой пробиваем дорожки в этих сугробах, отбрасываем снег от стен и дверей хаты.

Потом я возвращаюсь в свою комнату, сажусь за эти записки или учу наизусть «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря» и вообще как можно больше из Пушкина.

Иногда сквозь пургу ко мне пробираются Пивоваров или Парахин. Долго стучат сапогами в сенях, отряхивая снег, а потом под недовольным взглядом хозяйки проходят в мою комнату. Пивоваров приходит поменять книгу, с Парахиным я занимаюсь русским языком. Я рад им, мне интересно с ними. Когда я ругаю их за то, что они шли по такой пурге, Пивоваров возражает мне так, словно удивляется моему невежеству.

– Да шо вы, Андрий Николаевич! – Он прекрасно говорит по-русски, но «балакать» со мной по-хуторски – проявление независимости. – То разве штурма? Вот в позапрошлом...

И начинается рассказ о том, как в позапрошлом году, чтобы спасти овец, на Черные земли были посланы воинские части. Танки буксовали в снегу, а когда пробили дорогу, танк шел в снеговом коридоре, и только башня едва возвышалась...

– Вот тогда погибло овец! И летом падали.

– А почему летом?

Оказывается, от голода овцы объели друг на друге шерсть, шерсть эта остается в овечьем желудке и убивает животных.

Объясняет он мне покровительственно. В этих делах они куда больше меня знают. Даже Парахин оживляется, а Пивоваров потом и вовсе на равных говорит со мной о книгах, которые он прочитал.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Утром на четвертый день бурана к нам в хату ввалился председатель сельсовета Натхин. Снял шапку и, наклонившись, долго выщипывал снег, набившийся в волосы. Потом без большой уверенности спросил:

– Дядь Гриша, пойдете на кошару помочь? Овцы четвертый день не кормлены.

– А ты теперь за председателя колхоза? – спросил дед Гришка.

Натхин не принял иронии.

– Разделились с председателем. Вин с того краю, от Ивановиной хаты, пошел людей собирать.

– А кого уговорили? – Натхин замялся: – Да я к вам четвертому стучусь. Обещал дед Степан. – Натхин ударил шапкой о рукав, сбивая с нее снег. – Еще пару дней штурма подует – овцы лягут.

– Сходить, мать? – спросил дед Гришка. Хозяйка не ответила, она, едва поздоровавшись с Натхиным, отвернулась к печке и не оборачивалась, пока не ушел. – Схожу, – усмехнулся дед.

Натхин ушел, а хозяин стал неторопливо собираться. Я спросил, почему овцы не кормлены. Оказалось, сено в нескольких десятках метров от кошары, но взять его на вилы из копны при таком ветре невозможно – ветер все сдувает. Да и открыть ворота кошары, чтобы войти к голодным овцам, сейчас опасно: овцы поднапрут, выбегут наружу и пойдут на собственную гибель за ветром. В общем, чабанам самим с ними не совладать. Что-нибудь сделать можно только всем миром.

Я увязался за дедом Гришкой. Он не стал возражать, хотя и удивился. Мы перелезли через сугроб, который был наметен вдоль всего забора у нашего двора, и двинулись в глубь слепой белой мглы. Вначале я пытался идти рядом с хозяином, но все время получалось так, что дороги в степи мне рядом с дедом Гришкой не было. Он шагал легко и ровно не оскользаясь и не проваливаясь, а я то и дело спотыкался, проваливался, загребал за голенища снег. Пришлось мне пристроиться ему в затылок. Когда мы подошли к кошаре, все тепло из меня выдуло. Пальто, шапка, брюки, сапоги, варежки – все казалось ледяным изнутри. У кошары, в затишке, уже собралось несколько человек. Кто-то ухитрился зажечь папиросу, но огонь из нее сразу же вырвало, едва курильщик перестал прикрывать огонь рукой.

– Чего ждем? – спросил дед Гришка. Он не гнулся, не растирал щеки, будто ему и не было холодно.

– А подойдут еще, – ответил кто-то.

– А, – согласился дед Гришка, и мы тоже стали со всеми ждать.

– А чего мы ждем? – крикнул я деду Гришке.

– А ждем! – ответил мне дед.

Так мы простояли, ежась и приплясывая, еще минут пять-десять, а потом все-таки решили – бригадир решил – начать работать самим.

Целый день мы в мешках таскали мороженое сено и через пролом под крышей бросали его в кошару. Собралось нас у кошары не так уж много, и работа двигалась медленно. Среди дня на санях приехал Натхин и вместе со всеми нагребал из дыры в копне сено и таскал его к кошаре.

Возвращались в хутор при дневном свете, задерживаться до вечера опасались.

– Живы теперь будут овцы? – спросил я деда Гришку.

За целый день мы с ним не перекинулись и словечком. Лишь когда собирались открывать ворота кошары, дед сказал мне: «Ты здоровый, Андрий, иди пособи».

– Кто знает? – пожал плечами дед.

Уже дома, за обедом, дед меня спросил:

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– А чего ты, Андрий, с нами ходил? Хотел побачить, як колхозники роблют?

Он не одобрил меня. К концу обеда он высказался об этом определеннее, хотя сделал это по-своему, к случаю. Мы – дед, Алинка, я – уже кончили обедать, а бабка, долго возившаяся у печки, только присела к столу со своей тарелкой. Она едва зачерпнула несколько ложек, как Алинка протянула ей кружку.

– Ба, еще киселя.

– Не маленькая, – сказал я. – Кастрюля рядом. Налей сама – бабушка обедает.

Пока я не пытаюсь воспитывать Алинку, у нас с ней отличные отношения. Сообразительная, подвижная, лукавая представительница четвертого поколения семьи моих хозяев мне очень нравится. Она отлично говорит по-русски, если разговаривает с матерью или со мной или если хочет уличить деда и бабку в том, что они говорят «не так»; отлично говорит по-хохлацки, если хочет подластиться к бабке. Беспокоит меня лишь слишком ранняя ее привычка к семейным ссорам: все это время Алинка чаще живет у нас, чем у отца с матерью, и кажется, день ото дня становится к ним равнодушнее. Бабку Алинка терроризирует. Сядет бабка обедать, Алинка тотчас тянет из-под нее табуретку:

– Ба, мне же нужно играть!

Бабка молча встает.

Если я прикрикну на Алинку – табуретка возвращается. Если я попробую пристыдить саму бабку – табуретка остается у Алинки. На чьей стороне дед Гришка – непонятно. Он молчит обычно. На этот раз он молчать не стал. Бабка встала, взяла у Алинки чашку, набрала киселя. Дед Гришка закручивал послеобеденную папиросу. Свернул, пропустил ее между большим и указательным пальцами, равномерно распределяя табак:

– А ты, Андрий, не прав. Мать главная над кастрюлями. Нехорошо, если каждый туда лазить будет. Кажне дило своего хозяина любит.

4

В субботу, как я и обещал Зине, я пришел в Ровное. В райцентр я добрался лишь к шести часам вечера, хотя из хутора вышел в одиннадцать, сразу после уроков, – идти мне мешала довольно сильная встречная метель. Честно говоря, я не только проклинал эту метель, но и самолюбиво радовался ей. Черта с два кто по такой погоде пойдет на свидание за восемнадцать километров! Я представлял, каким будет Зинино лицо, когда она увидит мои заледеневшие брови, щеки и подбородок, на которых каждая волосинка обмерзла, превратилась в сосульку. Когда я вошел в Ровное, где ветер дул послабее и снег шел пореже, я даже стал опасаться, что снежная маска растает, прежде чем Зина увидит меня.

Я подошел к Зининой хате, постучал и вдруг испугался, что Зины нет дома.

Она была дома, но не ждала меня. Когда она, вызванная хозяйкой, выбежала на порог и, словно с трудом вспоминая, кто же я такой, вгляделась в меня, я обмяк и утерся, стирая снег с лица. Потом я оскорбился – подумаешь, столичные жители! Конечно, она и думать обо мне перестала. И тут же мне представилось, как я завтра по этой вот метели буду добираться к себе в хутор.

– Здравствуйте, – сказал я. – Понимаете, дай, думаю, по дороге...

– Здравствуйте, – сказала она растерянно.

– Вы, кажется, собираетесь куда-то идти? – спросил я. Она никак не могла решить, что же со мной делать. – Собирайтесь, я вас провожу, если вы в клуб. Я иду в клуб.

– Хорошо, – сказала она, – я сейчас.

И она убежала, захлопнув перед моим носом дверь. Правда, она сейчас же

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru вернулась:

– Зайдите в комнаты. Холодно же!

– Да я здесь подожду.

– Зайдите же! Холодно.

Но я остался во дворе. По дороге в Ровное я не мерз – потел, и все тепло из меня выпотело до капли. Теперь во мне ничто не сопротивлялось холоду. Бесплезно было даже приплясывать или размахивать руками. Я быстро стыл и думал о том, что в этих восемнадцати километрах между Ровным и хутором есть по меньшей мере четыре километра лишних для меня. Сколько ни хожу по этой дороге, никак не могу оттренировать себя. Постарел, наверно.

По дороге в клуб я все ожидал, что Зина спросит, как же я по такой погоде решил прийти, но она не спрашивала. Такой вопрос что-то бы осложнил для нее, а она ничего не собиралась осложнять. Потом я подумал: а может, она не спрашивает потому, что считает, что мужчине и положено мужское? Прошелся степью по метели – и прекрасно! Вот она сама какая решительная и сдержанная! Тогда это даже здорово!

В клубе у кассы меня окликнули. Я оглянулся: Илья Крупник с женой, Галина, Паша.

– Ты откуда такой? – спросила Галина. – Ты как сюда попал?

– Да вот в кино пришел, – сказал я. – Ждал, ждал, нет кинопередвижки, решил сам прийти.

– Да ты же на сосульку похож, – сказала Галина и посмотрела на Зину.

Паша спросила напрямик:

– Зина, он к тебе пришел? Ты бы его отогрела, а то он воспаление легких схватит.

Я смутился, подмигнул Илюше, Илья подмигнул мне. Зина тоже смутилась.

– И правда, – сказала она.

И в конце концов вечер прошел для меня хорошо. Из клуба мы с Зиной по замерзшему скверу перебежали в пустую – она уже закрывалась – чайную (хорошо было бы, не сопротивляясь дрожи, которая уже начала потихоньку бить меня, пожаловаться: «Холодно!», но я не мог себе этого позволить). Пока девушки подметали, вытирали клеенки и что-то считали за прилавком буфета, мы поужинали. Нам дали гуляш из солонины с жестковатой картошкой, сыру и водки. Зина сказала:

– Я даже люблю, когда мужчина умеет выпить.

Это было очень любезно с ее стороны, потому что водку я взял с единственной целью выглядеть настоящим мужчиной.

От водки, от комнатного тепла у меня обожженно разгорелись щеки. Девушки, убравшие в чайной, ушли. Буфетчица, пересчитывавшая выручку, не торопила нас, и я испытывал к ней за это настоящую нежность. И к этой чайной, где нас кормили плохой солониной, я тоже испытывал нежность. И к традиционным шишкинским «Мишкам» – тоже. Они были очень к месту – я мог над ними сколько угодно острить. Двери на улицу уже заперли, и буфетчица предупредила нас: когда мы захотим уйти, нужно будет пройти через кухню во двор. И даже Зине, кажется, все это начало нравиться. Я рассказывал ей о Куйбышевской ГЭС и о Германии. Вначале она слушала внимательно, а потом, когда я вспоминал, как мы с моим товарищем Валькой бежали, вернее, пытались бежать из Западной Германии, как в темноте удрали из колонны и, не зная улиц, старались до света выбраться из большого города, она отвлеклась. И это тоже мне понравилось. «Не хвастай, – подумал я сам о себе, – тебе нечем хвастать перед этой девушкой, которая по доброй воле работает здесь уже четвертый год, которая так стойко переносит стокилометровую зимнюю дорогу».

– Так как же ты решил по такой погоде? – спросила Зина. – Я совсем не думала...

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru – Я тебе тогда сказал, – глуповато и счастливо похвастался я, чувствуя, что и глуповатость и хвастливость мне сейчас простят. У меня звенело в ушах, мне больше не нужны были вожжи бодрячка. Наверное, я мог бы уже пожаловаться: «Холодно!», но я не пожаловался.

Мы попрощались с буфетчицей и почему-то на цыпочках прошли через кухню, в которой уже был потушен свет, мимо каких-то ящиков, мимо тускло поблескивающего котла. Я говорил Зине:

– Смотри, ты можешь оцарапаться.

Мы попали еще и в кино – по субботам в клубе давали два сеанса. Показывали «Запасного игрока». Экран захлестывала летняя черноморская лазурь, по этой лазури плыл белый пароход. В умопомрачительно шикарном салоне – красное дерево, ковры, пластмасса – простой рабочий парень влюблялся в простую рабочую девушку. Это была шикарная любовь на фоне аквамарина, красного дерева и пластмасс. Впрочем, у героини и героя были приятные молодые лица, и мне даже нравилось смотреть на аквамарин и пластмассу. Я держал Зинину руку и радовался тому, что мы сидим так близко, что мне сбоку видно, как блестит ее глаз, я слышу, как кислотовато пахнет мокрый мех воротника на ее пальто.

– Где ты ночуешь? – спросила она, когда я проводил ее из клуба домой.

– Рядом. В Доме колхозника.

Дом колхозника и правда был недалеко. На той же площади, где и клуб. Однако переночевать в нем оказалось не так-то просто. Я долго стучал в толстую дверь, прежде чем понял, что за дверью не спят, что там попросту никого нет. Какой-то парень показал мне, где живет уборщица – заведующая этим Домом. Я разбудил уборщицу-заведующую. Она объяснила: Дом колхозника не топят, по такой погоде в райцентр никого не ожидали. Если я хочу – пожалуйста. Но холод там собачий.

Холод был собачьим. Но что мне было делать?! Я собрал одеяла с нескольких коек, навалил их на одну кровать, выпроводил уборщицу-заведующую, которая с любопытством смотрела, как я устраиваюсь, запер за ней дверь и полез под одеяла.

И все-таки я был счастлив.

И даже не «все-таки». «Все-таки» тут ни при чем. Именно поэтому был счастлив.

Или и поэтому и «все-таки...»

5

В начале марта ударила сильная оттепель. Сугробы в степи посерели, налились водой. Я возвращался из школы прямой зимней дорогой через речку, через канавы, еще вчера забитые жестким снегом. Две канавы меня пропустили, а в третью я провалился. Видели, как в трюковом кино артист, «приклеившийся» к жидкому асфальту, наклоняется под острым углом к земле, почти ложится на дорогу, а асфальт держит? Я тоже мог сколько угодно наклоняться вправо, влево – жидкий снег только уплотнялся вокруг моих ног.

Но я выбрался, не зовя на помощь. И даже не потерял хорошего настроения, хотя мне тут же на снегу, пришлось разуваться, выливать из сапог текучий снег и растирать заледеневшие ступни и икры.

Дед Гришка снисходительно посмеялся моему приключению:

– На тот снег можно ступать, Андрий, поверх которого вода идет. Раз вода поверху – значит, под низом лед.

Дед, как и я, был в хорошем настроении. Красно-бурая кожа его лица и шеи, обожженная всеми летними и зимними загарам, казалась загоревшей только сегодня, так ярко – где оно было до сих пор? – светило солнце.

Дед прорубал через весь двор канавку вниз к огороду – готовил сток для воды. Работал он в плотно застегнутой стеганке, аккуратно сглаживал ледяные стенки

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru канавки и вообще будто бы и не обращал внимания на солнечные искры, которые сам же высекал изо льда. Но когда во двор вышла Алинка, он вдруг с неуверенностью и смущением человека, берущегося не за свое дело, сказал ей:

– Бачь: идет весна-красна с плугами да с боронами. – Взглянул на меня и добавил: – Раньше так говорили. А теперь надо говорить: «Идет весна-красна с комбайнами и тракторами».

Это было что-то новенькое!

Прежде чем опять взяться за лопату, дед с коротким смешком мне посулил:

– Завтра ты, Андрий в школу не попадешь. Воды богато. То Галина у нас стояла, так она с нашей Валентиной, пока вода не спала, в школе жила. В учительской ночевала. Девчата!.. Вот директор была! Хоть и девка. Не то, что этот... Не той, не умный вин.

Это тоже было что-то новенькое!

Вышла во двор хозяйка. Рассеянно посмотрела на нас. Задумчиво спросила саму себя:

– И чего це так много воды? Снег тает, да? – Потом спросила меня: – Андрий, ты через ричку йшов. Богато у рички воды? Перейти ж нельзя?

Ей нужно было, чтоб нельзя.

Вода в речке шла поверх льда, но перейти было можно. Я сказал об этом.

– Эгей ж, – рассеянно кивнула хозяйка.

Она не хотела идти к Валентине. Каждый день хозяйка ходила помогать по хозяйству беременной дочери, а ходить ей не хотелось. Возвращаясь от Валентины, хозяйка рассказывала, как она ругалась с Семеном – Семен сидел дома, у него гноилась рана на ноге, – передразнивала его и каждый раз жалела: вот этого я ему не сказала, и это забыла, да надо было еще вот что сказать.

На этот раз хозяйка бы не пошла, если бы к нам не заявила сама Валентина. Она пришла в высоких резиновых сапогах, в легком плаще, с длинной палкой в руках – щупала перед собой дорогу.

– Жарко, – объяснила она свой чрезмерно легкий плащ, легкую косынку. – Тяжко.

Живот у нее уже был очень велик для таких опасных походов.

– Мамо, – сказала она, – ходимьте до нас. Я Семена в больницу отправляю, в райцентр. А то завтра дороги не будет.

– Когда ты сама в больницу ляжешь? – спросил я (в хуторе родильного дома нет, роженицы дня за четыре до родов должны ложиться в районную больницу).

– Я считаю, мне еще месяц, – сказала Валентина.

Всю ночь в степи что-то оседало, булькало. Когда я утром вышел из хаты, мне показалось, что не снег в степи стоял, а осела, растаяла сама степь – так опал и снизился холм, у подножия которого стояла наша хата. Что-то сделалось и с воздухом над степью. За ночь в нем появились влажность и какая-то радостная гулкость, какие бывают в воздухе над большими водными пространствами. И звуки этот воздух проводил совсем не степные – резкие, похожие на скрип несмазанных лодочных уключин.

– Бачь, – сказал мне дед, – чайки кричат! – Я присмотрелся – правда, за нашим огородом пикировали и взмывали птицы с белыми гнутыми крыльями. – Ричка разлилась, – сказал дед, – чайки за водой пришли. – И еще он сказал: – Рано для настоящего тепла. Но, мабудь, снег стает, трава пойдет, а то сина мало.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Дед оказался прав – для настоящего тепла было еще рано. Дня два, толкаясь об узкие берега, по наполнившейся до краев речке шли льдины, а потом эти льдины вмерзли в новый лед, речка остановилась. И опять запуржило. Трава не пошла. Ее ждали со дня на день. Как ее ждали, уповая на приметы, намечая для оттепели все новые сроки, проверенные по многим прошлым зимам, по поверьям старых людей, лучше всего говорится в сказке деда Гришки, которую он мне рассказал морозным вечером в конце марта.

– Знаешь, Андрий, як калмык в такую же зиму траву для своей худобы ожидал?

– Расскажите.

– Сино у него кончилось, а снег лежит. Калмык каже: «Ничего, вот будет Явдоха (ты, Андрий, не знаешь: «Явдоха» – то святая Ефимия, по новому счету на пятнадцатое марта падает), авось, потеплеет, корм будет, скотинкам кушать будет». На святую Ефимию не растаяло. «Дурной баба, – сказал калмык, – вот «сорок человек» будет, кто-нибудь умный будет». Но и на «сорок святых» (то – с девятнадцатого по двадцать пятое марта) тоже не растаяло. Скотина начала ложиться. «Вот сволочь, – сказал калмык, – сорок человек не могут одно придумать. Тот тепло, тот холод, тот метель. Вот подойдет Алешка Теплый человек – тепло будет, скотинкам корм будет». И точно, с двадцать седьмого начало таять, трава пошла, а скотина уже легла от голода. Тогда калмык стал рвать зеленую траву и кидать ее вверх: «На, господин бог, кушай сам!»

Вот такую сказку рассказал мне в конце марта дед Гришка, который хотя и не верил в бабкиных богов – так он назвал хозяйкины иконы, – но вообще-то во многое верил: и в судьбу, и в приметы, и в порчу, и в дурной глаз – и потому, не разозлившись по-настоящему, не стал бы замахиваться на всех святых и самого бога.

7

Весенних каникул мы не могли себе позволить. Мы их «проели» в мартовскую ростепель, в январские и февральские непогоды. Но все же всех нас, учителей-хуторян, и тех, кто работал даже не в хуторе, а в самой что ни есть глуши, на фермах, на несколько дней собрали в райцентр на отдых. Доклада Сокольников не делал, коротко сообщил о том, как прошла третья учебная четверть, пригласил вечером на концерт художественной самодеятельности ровненских учителей и разрешил заниматься своими делами: ходить по магазинам, встречаться со знакомыми и вообще отдыхать после долгой зимы.

Как водится, чтобы отметить встречу, сколотилось несколько компаний. Меня пригласила Зина, и вечером я сидел рядом с ней в большом классе ровненской десятилетки, из которого еще утром вынесли в коридор парты. Поначалу, увидев, в какую компанию я попал (здесь были Мясницкий, Сокольников, инструктор облоно Иващенко, несколько директоров школ), я смутился. Слишком много начальства для меня. В первую минуту я даже хотел уйти, но Зина так удивленно посмотрела на меня, что я устыдился. Правда, пока не сели за стол, пока танцевали под радиолу, вносили недостающие стулья, я поглядывал зверем – не заставили бы меня таскать эти самые стулья. Но никто не собирался ущемлять мое самолюбие, и я постепенно оттаял. Зина познакомила меня с хирургом районной больницы, он мне понравился. Мы сели рядом за стол, и пока теснились вправо, теснились влево, давая место опоздавшим, я рассказывал ему о взглядах деда Гришки на медицину:

– Знаете, что он мне недавно сказал? «Раньше этих самых раков и аппендицитов не было. Так, або живот поболит, або грудь». Я у него спрашиваю. «Значит, раньше жили – не умирали?» Молчит. И вообще к медицине с недоверием, больше на судьбу полагается. На что уж у них есть внучка любимая Алинка, а заболит – ждут, пока само переможется. Я даже иногда думаю: может, им просто лень сходить до фельдшерского пункта, все-таки пять километров. Предлагаю: давайте я зайду прямо из школы. Молчат. А я сам побаиваюсь вмешиваться. Один раз они меня обвинили в том, что я Алинку сглазил.

Говорил я все это легко, нащупывал «общую тему» для беседы. Если бы хирург улыбнулся, я бы ему рассказал еще несколько анекдотов на тему «Дед Гришка и судьба». Но он не улыбнулся. Он сказал:

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– В райцентре у нас благополучно. А вот с хуторов время от времени привозят таких. Живот болит. А у него уже сепсис на третий или на четвертый день после приступа аппендицита. Операция бесполезна, а оперировать приходится. Недавно привезли такого...

Хирург прокашлялся. Он был всего года на два старше меня, но в эту минуту он мне не казался ровесником. Восемь лет парень работает тут, а я совсем зеленый новичок.

Кто-то выключил радиолу, кто-то в торжественной тишине произнес тост, и я радостно почувствовал и торжественность этой тишины, и необычность обстановки, и то, что зима уже прошла и то, что она прошла так трудно, и то, что Зина рядом. Радиолу включили опять, опять зашумели, и мне приятен был этот шум.

Потом стол передвинули поближе к стене, и желающие пошли танцевать. Зину пригласил Мясницкий, он извинился передо мной, и я подумал: приятный все-таки мужик. Простой. Напрасно я тогда на конференции с ним поцапался.

Потом я не замечал ни Мясницкого, ни хирурга – смотрел только на Зину, на то, как легко и красиво она танцует, как решительно иногда берет на себя инициативу, поправляет Мясницкого, ведет его. Ее еще кто-то пригласил и еще кто-то.

– Знаешь, – сказал я ей, когда она вернулась, – я не танцую. Пойдем на улицу.

С нами вышли хирург и две учительницы. Хирургу и учительницам было по дороге, мы проводили их и медленно направились к центру. Я потянул перчатку с Зининой руки. Зина высвободилась.

– Постой, – сказала она. – Да постой же! – Я оглянулся: на улице никого. – Не в этом дело, – сказала Зина. – Я хочу тебя спросить...

Я посмотрел на нее удивленно. Как тогда на конференции, лицо ее было решительным и сурово благочестивым.

– Скажи, что ты делал когда приехал сюда в самый первый день? И еще на ноябрьские праздники?

– Честное слово, не помню, – начал было я, но что-то в тоне, которым Зина задала мне вопрос заставило меня вдруг разозлиться: – А впрочем, помню. Пил водку, бил стекла в школе, приставал к замужним женщинам. Еще что? Избил председателя колхоза.

Зина шла молча. Потом сказала:

– Мне сказали, что ты не тот человек, за которого выдаешь себя.

– Сказали? Любопытно. А сама ты что по этому поводу думаешь?

Мы долго шли молча. Вечер бестолково погибал, и я ничем не мог себе помочь.

– Я не могу не верить человеку, который мне сказал.

– А мне?

Она не ответила. Надо было уходить. Но я еще спросил:

– Кто он?

– Мясницкий.

И еще я спросил прежде чем уйти:

– А что бы изменилось, если бы я на самом деле бил стекла и вообще?..

– Не знаю!

«Не знаю!» прозвучало, как «отстань!»

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

..В школе, через весь класс, в котором еще танцевали, я прошел к столу, за которым сидели Мясницкий, Сокольников, директор школы, какая-то женщина. Они досиживали. За общим столом и Мясницкий, и директор, и Сокольников сидели в разных местах, теперь они собрались вместе, чтобы в своей компании досидеть последние полчаса. Мясницкий снял пиджак, снял галстук, расстегнул ворот рубашки – ему было жарко. Без галстука и пиджака, в рубашке с расстегнутым воротом, он утратил часть начальственной основательности. Но все же это был начальник, это было видно не столько по его лицу, сколько по лицам Сокольцова и директора школы. Я наклонился к Мясницкому так же, как наклонились бы к нему Сокольников или директор школы, и сказал просительно:

– Товарищ Мясницкий, я прошу вас выйти на минуту. У меня к вам коротенький личный разговор.

Он кивнул, и я поблагодарил:

– Спасибо.

На цыпочках, любезно улыбаясь танцующим, я прошагал назад, в коридор, и остановился за дверью. Подождал минуту, другую. На радиоле сменили пластинку, а Мясницкий все не выходил. Я опять отправился в класс, и тут меня окликнули:

– Скажите, это вы хотели видеть товарища Мясницкого? Вы не могли бы передать мне то, что хотите ему сказать?

Женщина, та самая, которая сидела рядом с Мясницким, улыбалась любезно, но я видел, что она боялась меня.

Значит, мне только казалось, что я наклонился к Мясницкому так, как наклонились бы к нему Сокольников или директор школы. Как можно мягче я сказал женщине:

– Понимаете, у меня к нему совсем личный вопрос. Понимаете, совсем не служебный. Пусть он сам выйдет.

Потом вышла еще одна женщина, и я ей тоже разъяснил, что к Мясницкому у меня абсолютно личный вопрос. Женщина ушла, а в коридор из класса кто-то вышел и устоял на меня, потом еще кто-то, а Мясницкого все не было. Я опять двинулся в класс, но тут дорогу мне заслонил сам директор школы.

– Что вы здесь делаете? Вас пригласили на вечер как порядочного человека...

– Послушайте, – сказал я, – ваш Мясницкий на две головы выше вас, на голову выше меня, почему он высылает вперед женщин?

– Вы понимаете, где находитесь? – спросил меня директор школы.

– Безобразие! – сказали из группы, которая собралась у входа в класс. – Скандалить в школе!

– Немедленно покиньте территорию школы! – сказал директор.

Я пожал плечами. Я не собирался скандалить. Разве это скандал – потребовать, чтобы человек, кто бы он ни был, ответил за свои слова?!

– Хорошо, – сказал я, – передайте Мясницкому, что я подожду его во дворе.

Во двор ко мне тоже выходили женщины, дважды появлялся директор. Я упорствовал, но уже понимал: ничего не получится, но сумею я заставить Мясницкого объясниться. До того Мясницкого, который сидел за столом, расстегнув ворот рубашки, повесив пиджак на спинку стула, который вытирал со лба пот, мне не добраться.

Вышла ко мне Зинина подруга.

– Понимаешь, – сказал я ей, – я не скандалить хочу. Я хочу, чтобы он ответил за свои слова. Обязан он отвечать за свои слова?

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru – Зина работает в этой школе, – сказала мне Зинина подруга. – Ты подумал, как это на ней отразится?

8

До субботы я ждал письма от Зины, записки или просто устного приветия. Зайдет в школу кто-нибудь из хуторян, побывавших в Ровном, и скажет: «Був у райцентра, так учителька из десятилетки привит передавала». Но Зина не передавала. Только теперь я понял, что она для меня. Как всю эту зиму от субботы к субботе упрямо я ждал свидания, как шел к ней и в метель, и в дождь, как потом опять всю неделю ждал свидания.

В субботу из школы я уходил домой в отвратительном настроении. Во-первых, потому, что уходил домой, а во-вторых, потому, что на последнем уроке совершил гадость. Не какую-нибудь мелкую несправедливость, от которой не застрахован ни один педагог и которую я тут же постарался бы исправить, а настоящую гадость. И никаких смягчающих обстоятельств я себе не мог отыскать. В седьмом классе у меня учатся переростки. Один ученик по фамилии Натхин, тот парень, который в самый первый день пытался подшутить надо мной в забегаловке, не знал урока. Я сказал ему:

– Натхин, по возрасту ты десятиклассник, а говоришь, что не можешь разобраться в материале, который и в седьмом идет как повторение.

– Андрей Николаевич, – проникновенно прижал руки к груди Натхин, – ну шо ж мени делать, як у мени голова така! Не всем же быть такими учеными, як вы.

Льстит он грубо, прямолинейно, мешая наглость с лестью. После урока он проводит меня до учительской и по дороге будет спрашивать, как ему лучше организовать свой рабочий день и какие книжки читать. Раз десять об этом он меня уже спрашивал.

Натхин, пожалуй, единственный человек в классе, которого я не люблю. Он чувствует это, но не может понять – почему. Слишком уж он деловой человек. Летом и осенью он подрабатывает в колхозе и умеет там напористостью, лестью вымолотить, а то и вымолить себе выгодную работу и увильнуть от плохой. Все осуждающе говорят о Натхине: «Молодой, да ранний!» И все почему-то пропускают его, дают ему дорогу. Учится он плохо, а свидетельство за семь классов хочет иметь хорошее, вот и донимает меня последнее время своей внимательностью.

Я поставил ему «двойку» и принялся за объяснение нового материала. Но к этому времени я уже заразил своей рассеянностью весь класс. Я попытался справиться с классом самими собой и не смог. Тогда я попытался справиться с классом. Я презираю преподавателей, которым недостаточно взгляда, удивленного движения бровей, чтобы натянуть почему-то порвавшую дисциплину, а тут сам попал в такое положение.

– Тихо! – крикнул я. Ребята никогда не видели меня таким и потому просто не поверили мне. А я обиделся на них: один раз я не смог справиться со своим настроением, и вот, пожалуйста! – Рыбина, перестань разговаривать!

– Андрей Николаевич, что вы! Я не разговариваю.

Это не она, это я ей при отличной дисциплине в классе позволял такую фамильярную интонацию. Сейчас я вспыхнул:

– Рыбина, если мне придется сделать тебе еще одно замечание, ты выйдешь из класса. Можешь не спрашивать: «А что я делаю?» – И через минуту: – Рыбина, выйди из класса!

Рыбина покраснела, но осталась на месте. Краснеет она так, как умеют краснеть только хуторские девчата: наливается, наливается краской, и конца и краю этому нет. Я перестаю объяснять, жду. И вдруг громкий возмущенный шепот:

– Встань, когда с тобой разговаривает Андрей Николаевич!

Это Натхин. Я хочу оборвать его, но встречаю такой честный, преданный взгляд, что невольно сбиваюсь.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Рыбина встала. То есть приподнялась и села на спинку парты.

– Выйди из-за парты! – громко шипит Натхин. – Стань, как следует!

– Замолчи, Натхин! Рыбина, я жду. – Но Рыбина уже не слышит, слишком много крови прилило к ее голове. И мне уже нельзя остановиться: – Встать! – демонстрирую я свою педагогическую изобретательность. – Будем все стоять, пока Рыбина не выйдет.

Ребята уже почувствовали, что со мной не все в порядке. Они встают молча, стоят потупившись. Безобразная сцена затягивается: я стою, весь класс стоит, кое-кто для удобства уселся на спинку парт, а Рыбина ни с места. Она наливаются, наливаются краской. Мне бы повернуть назад, но я не могу... И тут на помощь мне опять приходит Натхин:

– Да что она, Андрей Николаевич, не слушает вас. Разрешите, я...

Он быстро, так, что я даже не успеваю вмешаться, хватает ее за руку и тянет ее в проход, между партами... Вот и все. Рыбина в слезах выбегает из класса. Натхин грозит ей вслед, кто-то смеется, но большинство угрюмо молчит.

– А то не подчиняется Андрею Николаевичу! – говорит Натхин и преданно смотрит на меня.

– Сядь на место! – кричу я. – Сядь сейчас же! Ах ты... – Я выбегаю из класса вслед за Рыбиной, разыскиваю ее, говорю ей какие-то слова, привожу ее в класс: – Рыбина, я прошу меня извинить.

Потом мы что-то пишем на доске, я что-то объясняю, но урока уже, конечно, нет.

После уроков я медленно побрел домой.

К середине дня дождь перебила ледяная крупа, прошел снежок – наступишь на белую поверхность земли, а из-под сапог жидкая грязь.

Дома я застал Валентину. Резиновые сапоги ее были заляпаны. Ей было жарко, юбку она натянула выше колен, чтоб ногам стало попрохладнее. Меня она уже не стеснялась: слишком тяжело ей со своим животом.

– Торопилась? – спросил я, извиняясь, что пришел и помешал ей разговаривать с матерью.

– Торопилась, – устало улыбнулась она.

– А чего ж пальто не снимаешь?

– Да пойду же сейчас. Там свекровь не кормлена, не поена. Я утром в Ровное моталась, только сейчас вернулась. Слава богу, грузовик нашла. Проскочила в самое время, как раз дождь начался.

Валентина почти каждый день ездила в Ровное, в больницу к Семену, возила ему «домашнего поспидать». Сегодня она тоже «моталась» к нему со своим животом по сумасшедшей дороге на грузовике, каменные рессоры которого способны вытрясти душу из здорового человека.

– Сама уж не знаю, как на тот грузовик попала. Бегу и думаю: на этот не попаду, домой уже не вернусь, придется идти в больницу. Врачиха меня и так не пускала. Считает, что я сегодня должна лечь, а я считаю – в понедельник. И нельзя мне сегодня: свекрови ничего не приготовила, в хате не прибрано. Ой, да что там! Как влезла в кузов, сама не знаю. А влезла, уцепилась за кабину – и пронеси господи, внизу живота тяжело, вот-вот что-то оторвется. Не дай, думаю, на дороге родить! Врачиха же мне говорила: «Вы же культурный человек!»

– Так, стоя в кузове, и ехала? – поразился я. – Кто ж там в кабине сидел, что тебя в кузов пустили?

– Так сидя при такой тряске было бы хуже. А на ногах прочнее... Тебе Семен привет

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru передавал.

– Галину Петровну ты в Ровном не встретила? – спросил я. – Она бы тебе поездила!

– Ой, да что там! – сказала Валентина.

9

Ночью я проснулся от страха. От самого страшного, непонятного ночного страха. В хате спертая тишина, и сама хата куда-то плывет, покачиваясь в спертой ночной тишине. Настороженным слухом улавливаю какие-то потрескивания, шорохи и даже затаенное молчание, притаившееся в дальнем углу. Потом все медленно расходится по своим местам: чернота полузадернутого над моей кроватью полога, темнота поднявшегося до нормального уровня потолка. Хата, а вместе с ней и моя кровать уже не плывут в тишине. Да и не такая уж тишина за стенами хаты – по ставням сечет дождь. И кто-то на улице, отворив ставню, опять – вот что меня разбудило! – требовательно стучит по стеклу.

В соседней комнате шевельнулись на кровати, и дед совсем не сонным голосом сказал:

– Поди глянь.

Хозяйка с готовностью спустила ноги с кровати, шаркнула стоптанными галошами и молча пошла к дверям.

Щелкнула щеколда, шаркая галошами, вошла хозяйка и кто-то за нею, мелко потопавший у порожка, шуршащий плащом. И по тому, как этот кто-то шуршал плащом, облегченно вздыхал и топтался у порожка, сбивая с резиновых сапог грязь, было понятно, какой на улице дождь и как этот кто-то намок и как спешил.

– Это Катя, – сказала хозяйка (Катя – Валентинова соседка). – У Вали началось...

В хозяйской комнате помолчали, а потом заговорила Катя, и по тому, как она поживалась, тоже было понятно, какой сильный дождь на дворе и как Катя рада, что она все-таки пришла и сделала свое дело.

– Собака у вас скаженна, – говорила Катя. – Я, як шла, веточкой запаслась, а она ветки не боится. Я раз стукнула в окно, а вы не чуєте, я второй.

О том, что у Валентины началось, она сказала хозяйке еще во дворе, а теперь тараторила о том, как шла, как боялась темноты, о том, что воды в речке прибавилось, а хозяева все не перебывали ее и не перебывали. И не было слышно, чтобы они собирались вставать, и света они не зажигали. И ко мне медленно начал возвращаться страх, который разбудил меня.

– А Валентина, як чувствовала, с вечера сказала мне: «Ты до меня заглядай...» Я и заглянула. И побигла до бабки Иванчихи, а потом до вас. Еще хотела Кольку-фелшара покликать, да подумала – Иванчиха лучше. А вы как решите?..

– Пойдешь ты, отец? – сказала хозяйка. – Мабудь, надо будет в колхозе лошадь або машину, а бабе як же? Там таке страшно...

Под дедом всхлипнула кровать, он виновато прокашлялся.

– Не, – сказал он, – то бабье, не мужичье дило. А везти – куда везти по такой штурме?

Тут хозяйка заговорила торопливо, убеждаяще:

– Не гоже, як мать при дочке, не к доброму...

Хозяин и хозяйка долго молчали, и только Катя все рассказывала и рассказывала радостно и возбужденно, как она беспокоилась, не могла уснуть, как пришла в хату к Валентине, а Валина свекровь – «яка с нее польза?» – собралась вставать с кровати, идти звать соседей. А Валя сама с вечера и воды на печку поставила, и тряпок белых наготовила.

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Наконец хозяйка зажгла лампу, стала собираться. Теперь она заторопилась, забеспокоилась, засыпала Катю вопросами – видно, решилась. Даже уверенность в ее голосе появилась:

– Ничего, бог даст. Я без больницы пять раз рожала.

Она дунула на лампу, и женщины вышли из хаты. Слышно было, как хозяйка крикнула, отгоняя Дамку, и все стихло. Только дождь продолжал хлестать по ставням. Дед Гришка осторожно ворохнулся у себя на кровати и затих. Спит он с посапыванием, с прихрапом, а тут тишина. Я тоже не мог заснуть. Лишь закрою глаза, лишь дрема ко мне подберется, и опять в дальнем углу и в соседней комнате, где беззвучно лежит дед Гришка, в шорохах и потрескивании, в спертom ночном воздухе рождается что-то настороженно большое и страшное.

Так я и пролежал до света. А на рассвете стал ожидать – сейчас войдет хозяйка и заголосит: «На кого ж ты нас, доченька, покинула?!» Обязательно заголосит...

10

Я не дождался хозяйки – заснул. А когда проснулся, хозяйка уже возилась у печки, гремела крышкой от кастрюли, ходила от печки к столу. Деда Гришки в хате не было. Значит, все ночные предчувствия – ерунда. Все в порядке. Все-таки еще со страхом я спросил:

– Как Валя?

Оказалось, почти в порядке. Хозяйка ушла от Валентины, когда ребенок, девочка, благополучно родился. Правда – «то женское дело», – послед еще не вышел, но у Валентины колька-фельдшер и бабка Иванчиха, так что все будет хорошо.

– А она не просила, чтобы ее в больницу отвезли?

– Просилась. Да там, Андрий, таке страшне робылось: и дождь, и витер. И не темно, а аж черно... А я кажу: «Валя, я пять раз без больницы рожала...»

По обязанности просветителя я напомнил ей, что из пятерых у нее в живых только двое, а в городе дети хоть и болеют, а не умирают. Потом я вяло позавтракал – никак не мог прийти в себя – и пошел в школу проверять тетради. Собственно, проверить тетради я мог и дома, но в школе все-таки лучше. Туда дорога длинная, кого-нибудь в центре увижу, зайду в правление – там всегда кто-нибудь курит, в шахматы играет – время и пройдет. А в школе приемник, и, может, девчата подойдут. Саша и Мария.

За школьными ключами пришлось идти к директору. Он, конечно, был недоволен, но я ему приготовил сюрприз:

– Валентина Григорьевна родила. Девочку.

– Да? – сказал директор. Он не любил Валентину – она был подругой Галины Петровны.

Ключи он мне все-таки дал. Долго ходил за ними – я ожидал его на улице, – потом широко открыл дверь, высунулся под морозящий дождик, посмотрел поверх моей головы направо, налево и, не глядя на меня, протянул ключи:

– Андрей Николаевич, приемник не включайте. Значит, что? Не включайте. Я не разрешаю.

И не ожидая ответа, закрыл дверь. Только я и видел его подтяжки на белой нижней рубахе и сенаторски благородную белую шевелюру. Никогда еще он не решался так со мной разговаривать.

В учительской я первым делом включил приемник и пустил его на полную мощность. Когда я вращал регулятор, пальцы мои дрожали. И все во мне дрожало, и я никак не мог унять эту дрожь. Вот оно как сказывалось – долгая зима, отсидки в хате во время буранов, ссора с Зиной! Директор явился почти сразу. На свою нижнюю

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru рубашку он успел накинуть только пальто. У него был такой вид, словно жена ему кричала: «Оденься!», а он яростно отмахивался. Фуражка сидела на нем косо – не было времени поправить. Распахнув дверь, он не проплыл мимо меня беззвучной тенью, а ринулся прямо к приемнику. Один шаг, второй... и я перехватил его руку, протянутую к выключателю. Как он испугался! Не сразу, а когда понял, что я сильнее и разозлен так же, как он! Он отскочил к двери:

– Неподчинение! Хулиганить! Завтра же здесь будет комиссия! И в райком партии... Там уж знают тебя, успел себя показать!

Меня осенило:

– Так это вы наврали Мясницкому?

Его красная обветренная кожа посерела. Я двинулся к нему.

– Не смей! – закричал он, нащупывая за спиной дверную ручку, открыл дверь и выскочил наружу.

Я сел к приемнику, минуту послушал, выключил его и вышел на улицу.

Я запер школу, постучал в дверь директорской хаты, бросил ключи на порожке и двинулся в Ровное. Не будет мне покоя, пока я не разыщу Мясницкого и при свидетелях – обязательно при свидетелях – скажу ему: «Вы подлец!»

Труднее всего было выйти из хутора – дорога здесь была так перепахана грузовиками, что казалась полосой препятствий. Но мне и нужна была сейчас такая дорога. Я с яростью брал эти препятствия, словно мстил кому-то. Часам к двенадцати я прошел больше половины пути до Ровного, не встретив ни человека, ни машины, и вдруг услышал приближающийся надсадный рев мотора. Буксующий в грязи грузовик ревет двухмоторным самолетом – на все триста километров в час, а передвигается со скоростью воловьей упряжки. Эта машина приближалась ко мне значительно быстрее, и скоро я увидел ее. Это был маленький вездеход «козел». Он загребал дорогу всеми четырьмя колесами и то вырывался на пошатывавшую его прямую, то заносился боком. Вначале я подумал, что это райкомовский вездеход, но разглядел на его дверцах забрызганный грязью красный крестик. Не люблю «Скорую помощь», встреча с ней на пустынной дороге показалась мне дурным предзнаменованием.

В Ровное я входил уставшим... и перегоревшим. Я все еще из упрямства и для того, чтобы не показаться самому себе малодушным, собирался идти к Мясницкому, но сама эта затея теперь казалась мне глупой. Зачем мне Мясницкий? О чем я буду с ним говорить?

Без надежды застать кого-либо – воскресенье! – направился в райком комсомола. Дверь была открыта. «Наверно, уборщица», – подумал я. А мне так нужна была сейчас Галина. Я вошел в комнату и сразу увидел Галину и Веру. У Гали были напухшие красные глаза. Когда я вошел, она не отвернулась, не попыталась спрятать свои красные глаза. Она уставилась на меня так, будто именно меня ожидала увидеть сейчас. Или как будто именно меня она никак не ожидала увидеть.

– Как же это случилось? – спросила она.

Одно мгновение я еще цеплялся за надежду, что это она о скандале с директором, что он уже успел позвонить.

– Да он ничего не знает, – сказала Вера. – Ты давно из хутора?

– Утром вышел.

– Полтора часа назад умерла Валентина. Не могли остановить кровотечение.

11

Домой я вернулся к ночи. Хата меня встретила черными стеклами незакрытых ставнями окон. Я открыл калитку и вздрогнул – что-то твердое и мохнатое ударило мне в ноги. Сердце мое оборвалось, но я не замахнулся, не закричал на

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Дамку – это была она, – я обрадовался. Вместе мы двинулись к хате. Дверь в хату была не заперта, она и не запиралась никогда. Даже если все уходило из хаты, хозяйка вешала на дверь старый, заржавленный, незапиравшийся замок.

– Мамаша! – крикнул я с порога. – Григорий Степанович!

Никто не отозвался. Я поспешно нашарил в кармане спички и зажег одну. Пожалуй, в хате стало еще страшнее – от желтого слабого огонька по углам шарахнулись густые тени. Конечно же, дома никого нет и не должно быть – и мать, и отец там, у Валентины. Наверно, они там с самого утра – в хате холодный, нежилой дух. Бросив дверь на улицу открытой, я прошел в свою комнату, зажег керосиновую лампу, зажег каганец в комнате хозяев – ради экономии керосина лампа полагалась только мне – и отправился закрывать ставни.

Закрыв ставни, я позвал собаку. Умильно вильнув хвостом, Дамка остановилась на пороге. Входить в хату ей строжайше запрещалось.

– Иди, иди, – сказал я.

Дамка закладывала уши назад, припадала мордой к передним лапам, всячески показывала мне любовь, но идти не решалась. Тогда я прогнал ее, закрыл дверь, не раздеваясь, сел на стул.

Сегодня в райкоме я сказал Вере и Галине, что это я виноват в Валиной смерти. Вера сказала, что это бессмыслица, а Галина промолчала...

Я и сам знал, что это бессмыслица. Мать у нее была, повитуха, колька-фельдшер! И все-таки, если бы я ночью попытался добыть машину и отвез Валентину в больницу, она осталась бы жива... Если бы Семен не был бы такой скотиной, Валентина была бы жива... Если бы... Так что же тогда бессмыслица?!

Глаза мои воспалены. Керосиновая лампа не может разогнать темноту. Темнота остается под столом, на котором стоит лампа, под кроватью. Ее конденсируют десятки фотографий, которыми увешаны стены.

Я еще не видел Валентину мертвой, не могу себе представить ее мертвой, а траурно-черные фотографии подтверждают – умерла.

Задремал я под утро, а проснулся человеком, заспавшим страшную суточную головную боль. Я вышел во двор, уклонился от столкновения с радостно бросившейся ко мне Дамкой (обычно дед Гришка сажает ее на цепь на рассвете) и подумал: конечно же, случайность! Нелепая случайность!

Навесив на двери большой незапирающийся замок, я собрался в школу...

После четвертого урока мы распустили ребят и пошли к Валентине. Снег в степи уже стоял. Лишь кое-где в земляных складках лежали источившиеся грязно-пепельные пленки – бывшие хребтины больших сугробов. Трава еще не пошла. На буграх, в стороне от тропинок, уже зеленело, но это была еще прошлогодняя зелень, темная, обветренная. И ни зелень, ни пепельные пленки бывших сугробов не красили сейчас землю в свой цвет.

Земля сейчас была сама собой – черно-земляной и еще желто-глиняной. Может быть, если бы по ней не ходили, не ездили, этот черно-земляной и желто-глиняный цвет не был бы так назойлив, но дорога, по которой мы шли, ее обочины были так перепаханы колесами телег и грузовиков, так истоптаны ногами людей и животных, что этот желто-глиняный цвет просто сочился из-под наших сапог. Стены хат, мимо которых мы проходили, были в темных сыростных разводах, и низкорослые голые деревья около хат казались черными. Это был совсем степной – какого не видят жители центральных районов России, – до озноба безрадостный ранневесенний цвет и свет.

По дороге и по обочинам к дому Валентины шли люди. Шли, растянувшись длинной цепочкой, ребята из эмтеэсовской художественной самодеятельности – духовой оркестр, который прислала Галина. Шел вместе с ними добравшийся до хутора, хромой, с перекосившимся лицом Семен, шли ребята из райкома комсомола – Галина, Паша, Вера, Илья Крупник. И, наверно, оттого, что их, потрясенных нелепой смертью Валентины, было так много, я опять стал думать: «Если бы Семен не был

Сто двадцать километров до железной дороги. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru такой скотиной, если бы Валентина зашла в тот день к Галине и та бы заставила ее лечь в больницу, если бы я... Так как же случилось, что она умерла?! Ведь нас так много! И как же я упустил возможность, о которой мечтал всю жизнь, возможность спасти человека? Пошел сводить счета с Мясницким?»

Когда мы проходили мимо правления колхоза, меня остановил председатель сельсовета Натхин.

– Андрей, – сказал он, – мы тут пирамидку со звездочкой делаем. Ты предупреди директора и сам смотри, а то кажут, что родственники Валентины крест зробили, хотят на могилу поставить. Нельзя же. Ты предупреди...

– Да, да, – сказал я и пошел предупредить директора.

* * *

После похорон я, отказавшись от поминок, шел домой и думал, что до конца учебного года осталось каких-нибудь два месяца, а там я волен возвращаться сюда или не возвращаться. Времена меняются, и я теперь реально могу рассчитывать на аспирантуру. И еще я думал: после того, что я видел на хуторе, – аспирантура... И забыл я многое, да и не хочется, по правде говоря. Уж слишком много других дел, неотложных, которые я обязан делать. Обязан. И за слишком многое я в ответе: и за смерть Валентины, и за судьбу Парахина и Пивоварова, и за судьбу делового человека Натхина, и за судьбу Рыбиной. Никуда мне от них не уйти.

1964

Примечание

Так в книге. По смыслу, вроде, должны быть пулеметы.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://seminvitaly.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!